

Annotation

Эта книга, выдержавшая несколько изданий во Франции, написана столь увлекательно, что будет интересна и специалисту, и самому широкому читателю. Эта книга поможет вам познать себя, своих детей, своих близких и окружающих. Она поможет вам обрести столь необходимое каждому душевное равновесие.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ГЛАВА 1. У МЛАДЕНЦЕВ СВОЙ ЯЗЫК

ОЛИВЬЕ, КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ ДЫШАТЬ

ЗОЕ, НАРКОМАНКА ОТ РОЖДЕНИЯ

ФЛЕР, ДИТЯ ПОМОЙКИ

КУКЛА БЕЛЛА

ГЛАВА 2. ПАПА УБИЛ МАМУ

ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

ПАПА, КАК ВСЕ

КАК СТРОИТЬ САМОГО СЕБЯ

ГЛАВА 3. МАТИАС, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КОТЕНКОМ

ГЛАВА 4. МУКИ ОЖИДАНИЯ

АНЖЕЛА И СЕМЬ КАШТАНОВ

ЛЕА. ЖАЖДА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ... А ЧТО ДАЛЬШЕ?

КОШКА НЕ ПЕРЕБЕГАЕТ ДОРОГУ!

notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Когда я занимаюсь психоанализом, то должен сохранять живую реакцию, быть в отличной форме, не терять нить разговора. Я должен быть естественным и правдивым. Д.В.Винникот

Однажды моя подруга — психиатр звонит мне, чтобы сообщить о своем уходе из детских яслей Антони . Она знает, что там ищут психоаналитика, который согласился бы консультировать их малышей в возрасте до трех лет. Может ли она меня порекомендовать?

Все, что я слышала об этих яслях, так это только то, что они предназначены для детей, которых направляет туда Служба социальной помощи детям. Но все новое вызывает у меня любопытство, и я даю согласие, чтобы меня порекомендовали, хотя никогда не работала с трудными детьми.

Вскоре сотрудницы яслей договариваются со мной о встрече. И ко мне приезжает психиатр (Мартина Прискер), психологи (Фанни Беккуш и Доменик Лавернь) и главная надзирательница яслей. Я была готова к обычному и естественному в данном случае разговору. Однако мне устраивают строжайший экзамен по... психоанализу. Несколько секунд я думаю, как мне поступить: может, выставить их за дверь? Но в конце концов решаю: что ж, раз это экзамен, я должна его выдержать. Экзамен довольно трудный, потому что я его не ожидала. К тому же его ведут в агрессивном тоне. Но мне совсем не трудно оставаться самой собой, то есть профессионалом.

Дамы засыпают меня вопросами, чтобы уяснить мою позицию как психоаналитика, и в частности — детского психоаналитика. Мне несложно понять их требование, которое полностью совпадает с моим: психоаналитик, работающий с детьми любого возраста, ничем не отличается от психоаналитика, пользующего взрослых.

Если психоаналитик имеет дело с совсем крошечными детьми, которые попадали под опеку служб социальной помощи вследствие семейных и социальных драм и проявляют симптомы соматических и психических расстройств, врач ни в коем случае не должен нарушать следующих правил: психоаналитик никогда не вмешивается в реальную жизнь и в юридические решения, которые принимают соответствующие учреждения в отношении ребенка. Врач не имеет права видеться с ребенком вне лечебных сеансов и в местах его временного проживания.

С другой стороны, персонал яслей, направляющий ребенка на лечение к психоаналитику, не должен спрашивать у него «советы» по воспитанию ребенка.

Роль психоаналитика — не соболезновать, не утешать, не исправлять, а помочь выявить и символизировать, то есть обозначить причину страдания. Психоаналитик не может изменить прошлого и не должен стараться в реальном смысле модифицировать будущее.

Я подробно рассказываю своим гостям о моей практике, потому что до сих пор никогда не работала с малышами, которых опекают службы социальной помощи. Но их явно заинтересовал мой опыт работы с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями — я пятнадцать лет проработала в госпитале «Больные дети», в отделениях эндокринологии и желудочно-кишечных заболеваний. Атмосфера понемногу смягчается. Я понимаю, что эти дамы встречались до меня с другими психоаналитиками, которые старались потрясти их сверхважным тоном и душераздирающими случаями из своей практики. Мы расстаемся почти друзьями, хотя они ничего мне не обещают. Дамы говорят, что должны подумать и, возможно, еще позвонят мне...

Их экзамен и недоверие так обидели и утомили меня, что я ругаю себя за то, что со всей откровенностью рассказала им о том, что могу и что не могу.

В ту пору я часто встречалась с Франсуазой Дольто . Я тут же рассказала ей об этом неприятном и неожиданном для меня разговоре и узнала, что она уже с 1973 года консультирует детей, которые воспитываются в этих яслях. Уйдя на пенсию, она сотрудничает теперь — совместно с организацией «Мезон верт» — только с этими яслями. Она проводит свои консультации по утрам, каждую пятницу, в госпитале Труссо, на улице Кужа. На эти сеансы приходят и другие психоаналитики. По приглашению Франсуазы Дольто, я тоже начинаю их посещать.

Так как сотрудницы яслей после второй, уже более благожелательной, встречи со мной начали направлять мне на прием своих питомцев, эти последние два года жизни Франсуазы Дольто (она скончалась 8 июля 1988 года) я регулярно посещала ее консультации. Ей хотелось, чтобы ее консультации служили практикой для детских психоаналитиков. Но она заботилась не только о подготовке будущих психоаналитиков, которым предстоит работать с малышами. Она приглашала и опытных врачей (особенно мужчин!), пользующих взрослых людей, стараясь научить их лучше понимать и распознавать, что у взрослого человека идет от ребенка и выявляется во время психоанализа.

Врачи платили за участие в этих сеансах, а средства шли на оплату детского лечения, так что обществу эти консультации обходились даром!

Я была очень рада возможности посещать эти сеансы. Согласившись принимать детей из яслей, с которыми, как я узнала, уже работала Франсуаза Дольто, я понимала, какая ответственность легла на мои плечи. Но меня очень радовала мысль, что рядом со мной — Франсуаза Дольто.

Что же происходило по утрам, каждую пятницу, на улице Кужа? Нас, врачей, собиралось около десяти. Мы рассаживались вокруг Франсуазы Дольто, находясь в поле зрения ребенка, так что за спиной у ребенка никого не было. Дети сменяли друг друга почти непрерывно, с девяти тридцати утра до часа дня. В редких случаях на консультациях присутствовали и родители. Это были не единичные клинические презентации. Мы наблюдали, как дети на наших глазах проходили полный курс лечения — сеанс за сеансом, неделю за неделей.

Работа Франсуазы Дольто и ее комментарии собственных действий производили, вероятно, впечатление, сходное с тем, какое выносил Зигмунд Фрейд после клинических презентаций доктора Шарко (при всей разномасштабности этих фигур): «Мозг насыщен так же, как после вечернего театрального спектакля». То, что я объясняла для себя гениальной интуицией, Ф-Дольто определяла совсем иначе. Она могла в любой момент пояснить, почему она произнесла те или иные слова — их диктовали ей ее познания, культурный багаж и воображение, опыт работы с детьми, врачебный опыт и богатая практика психоаналитика, вступающие во взаимодействие с тем материалом, который ей представлял ребенок.

Франсуаза Дольто говорила нам: «Вы все поддерживаете меня, так как я очень волнуюсь».

Я не очень-то верила ей до того дня, пока однажды не увидела ее вконец растерявшейся перед маленькой девочкой, которая все сеансы подряд каталась по полу и кричала, чтобы выразить свою боль. Франсуаза Дольто искала наши взгляды, наши лица и, возможно, жаждала услышать от нас слова поддержки.

По ее мнению, такие публичные консультации способствуют скорейшей эволюции в состоянии детей, которых привозили к ней всего раз в неделю. Она говорила: «Присутствие публики освобождает индивидуальные отношения с психоаналитиком от эро-тизации».

В ту пору я недопонимала значения, которое она придавала нашему присутствию, как и ее слова: «Если психоаналитик — настоящий профессионал, то его личность — вторична». Теперь я понимаю, что ошибалась. Сейчас, по прошествии времени и уже в отсутствие Франсуазы Дольто, я думаю, что там, на улице Кужа, перед нами происходил не театральный спектакль и она вовсе не старалась держать нас на дистанции. Мы были непосредственными участниками каждого сеанса и эффективными проводниками между ребенком и врачом. Поскольку дети сидели рядом с нами, они обращались иногда к кому-то из нас со словами или жестом и мы отвечали им. Отдельные фразы Франсуазы Дольто адресовала только нам, но в присутствии ребенка, то есть передавала их ему через нас. Благодаря нашему непосредственному участию, публичные консультации Франсуазы Дольто давали нам гораздо больше, чем она сама могла предположить. Мы не просто присутствовали, слушали и смотрели — дети или Франсуаза Дольто вовлекала нас в процесс психоанализа. Сохранять пассивность было невозможно, мы должны были чувствовать и размышлять. Это, естественно, ускоряло процесс лечения. Но даже когда психоаналитик работает один на один с пациентом, курс оказывает очень быстрое воздействие.

Франсуаза Дольто предпочитала заниматься детьми, потому что они не подозревали об ее известности — в отличие от присутствующих врачей и сотрудников ясель. Все мы прекрасно сознавали, кто находится перед нами, независимо оттого, преклонялись мы перед ее авторитетом или нет, каждый из нас втайне надеялся приобщиться к ее «секретам».

Все два года, что я посещала ее консультации и одновременно принимала детей из яслей, я все же полагала, что присутствую на них лишь в качестве «свидетеля». И только после смерти Франсуазы Дольто, когда коллеги-психоаналитики стали приходить на мои собственные консультации, я поняла, как важно для меня их участие в моей работе.

Вот так Франсуаза Дольто представляла нас перед началом сеанса: «Эти дамы и господа — психоаналитики, как и я. И они пришли сюда, чтобы учиться». Лишь однажды мать какого-то ребенка отказалась говорить в нашем присутствии. Мы уже собрались уходить, но тут она заметила коробку, в которую мы складывали деньги за свое участие в сеансах. Узнав, что таким образом мы оплачиваем не только свое участие, но и лечение детей, она позволила нам остаться:

«Ну, раз они за это заплатили...»

Независимо от возраста ребенка, Франсуаза Дольто начинала каждый сеанс с традиционного вопроса: «Что ты расскажешь мне сегодня?» или «Что нового у тебя дома?» Казалось, она оставляла почти без внимания сообщения о повседневных событиях, реальной жизни, если только нянечка или ребенок не рассказывали нечто такое, что

могло пробудить прошлое, прояснить причины болезненных симптомов, которые наблюдались у ребенка. Сообщения детей о себе не отличались разнообразием. Ребенок говорил, что у него есть цветные карандаши, бумага, пластилин, цепочка, деревянная палочка, нож для масла, бутылочка с соской, свисток, ножницы. Франсуаза Дольто держала в сумке бритвенное лезвие или перочинный ножичек и сама затачивала карандаши для детей — до тех пор, пока ребенок не начинал с гордостью демонстрировать, что он сам научился это делать, не рискуя при этом обрезать себе пальцы.

Сопровождавшая ребенка воспитательница или нянечка также могла присутствовать во время этого разговора. Это были молоденькие девушки или женщины, которые перед началом сеанса рассказывали о состоянии ребенка, болезненных симптомах, проявлявшихся в промежутке между сеансами, и событиями, повлиявшими на жизнь ребенка (визит или телефонный звонок родителей, принятое в эти дни юридическое решение). В случаях, когда психическое или физическое состояние ребенка (например, его неспособность сидеть) не позволяло ему оставаться без сопровождаемых, нянечка не покидала его во время всего сеанса и, при необходимости, отвечала на обращенный к ней вопрос или, наблюдая за поведением ребенка, вспоминала что-то, упущенное ею во время сообщения, сделанного перед началом сеанса. По поводу болезненных симптомов, замеченных у ребенка, этих девушек никогда специально не расспрашивали и уж тем более не возвращались к этой теме дважды.

Франсуаза Дольто придавала большое значение присутствию этих нянюшек — ведь совсем маленький ребенок еще даже не знает, что такое «мама». Хорошо знакомый ребенку человек, воплощающий для него настоящее или прошлое, является гарантом «базисного образа» и символическим защитником его телесной целостности. Даже если ребенок иногда без особого сожаления соглашается расстаться со своей нянечкой, он не забывает о ней. Был случай, когда трехлетний малыш, который уже знал, что такое мать и что такое женщина, с огромной неохотой согласился предстать перед нами без своей молоденькой нянюшки, потому что, покинув ее в обществе Паскаля (привлекательного молодого человека, который встречал детей у входа и провожал на консультацию), он воображал, что в его отсутствие они будут непременно целоваться!

В 1988 году у Франсуазы Дольто внезапно начались нарушения в дыхательной системе. Теперь она не расставалась с кислородным аппаратом, с которым ее соединяли специальные «очки для носа» (как она их называла). Но несмотря на слабость и недомогания, она со всем жаром души работала до самого лета. Однако мы знали, что психоаналитических консультаций на улице Кужа больше уже не будет.

ГЛАВА 1. У МЛАДЕНЦЕВ СВОЙ ЯЗЫК

Слово — настоящий языковой дар, а язык по природе своей материален. Жак Лакан

Первые шаги жизни — все равно что первые шаги в шахматной партии. Они определяют развитие и стиль каждой партии. И пока вам еще не угрожают мат и окончательный проигрыш, у вас есть все возможности сыграть красивую партию. Анна Фрейд

Грудные дети, попадающие под покровительство Службы социальной помощи детям, пережили потрясение — разрыв родственных связей, что в их возрасте вызывает функциональные нарушения. Таким способом они говорят нам о том, что они переживают.

Этот естественный или «органический язык», как удачно окрестил его Дени Васе (автор книги «Пупок и голос»), не является речью в прямом смысле слова. Но живой организм можно слушать точно так же, как слушают слова, произносимые психоаналитиком, или как разгадывают детские рисунки. Это язык подсознания, в котором концентрируется имеющийся у человека опыт. Слушание грудного ребенка пробуждает все чувства психоаналитика и заставляет их резонировать в тишине его внутреннего «я». Такое пробуждение и включение всех чувств должно предшествовать любому суждению, но оно не должно препятствовать работе воображения. Только раскрепощенное воображение позволяет перевести на обычный язык поначалу непонятные сигналы, услышанные врачом (то же самое происходит и на первых занятиях психоаналитика со взрослыми, или когда стараются разгадать детский рисунок или рассказанный сон). Когда услышанное мною я перевожу на язык обычных слов, я называю их «субтитрами». Как и в кино, они передают общий смысл, но богатство языка при этом утрачивается, что несколько раздражает тех, кто хорошо владеет иностранными языками. И все-таки субтитры предпочтительнее дубляжа, полностью заменяющего язык оригинала, который любят слушать, даже не понимая его значения.

Психоанализ позволяет прежде всего рассказать, выразить словами самому младенцу происхождение переживаемого им разрыва, ту невысказанную и затаенную боль, которая поначалу проявляется лишь в болезненных симптомах. Говоря с ребенком, вы обращаетесь к нему как к субъекту и предлагаете ему примириться со своим телом. Вы не утешаете его, не пытаетесь залатать образовавшийся разрыв, вы лишь выявляете и

обозначает причины его страдания, воскрешая его короткую жизненную историю, чтобы ребенок осознал себя, свою идентичность, свое происхождение, свои корни и свои возможности как субъекта. Поэтому во время лечебного сеанса ни в коем случае не следует касаться ребенка. Нужно лишь разговаривать с ним.

ОЛИВЬЕ, КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ ДЫШАТЬ

Впервые я увидела Оливье, когда ему было два с половиной месяца. Его привезли ко мне воспитательница из социальной службы и сиделка из яслей.

Я представляюсь: «Меня зовут Каролин Эльячефф, я — психоаналитик. Тебя привезли ко мне по просьбе твоих яслей, чтобы мы все вместе разобрались, что у тебя не в порядке».

Воспитательница, в присутствии Оливье, рассказывает его историю.

Оливье попал в ясли, когда ему было всего двенадцать дней. Его мать, беременная уже в несчетный раз, решает родить анонимно, под буквой «X». Она заранее оповещает Службу социальной помощи детям, что не сможет воспитать еще одного ребенка и желает, чтобы у него было лучшее будущее, чем она может ему обеспечить.

Когда подходит срок родов, она не успевает добраться до родильного дома и рождает прямо в машине «скорой помощи». Перед тем как навсегда разлучить мать с младенцем, ей его показывают. Через сутки она покидает роддом, так как с трудом выносит плач чужих младенцев, но по телефону ежедневно справляется о состоянии своего сына. Когда Оливье прибывает в ясли на трехмесячный срок, в ожидании, когда его сможет усыновить приемная семья, мать приходит к сотруднице социальной службы, чтобы высказать свои пожелания относительно будущих приемных родителей для своего сына. Об отце Оливье известно лишь, что он является также отцом всех остальных детей в этой семье.

Первые пять недель своей жизни Оливье чувствовал себя очень хорошо.

Но сейчас его физическое состояние внезапно ухудшилось — это и является поводом для консультации: его лицо и голова покрылись корками и струпьями, из-за бронхита он тяжело дышит, с шумом вдыхая и выдыхая воздух, но температуры у него нет.

Я смотрю на Оливье, а он смотрит на меня. Состояние у него и в самом деле плачевное: кожа покрыта сыпью, дыхание очень затрудненное и он начинает плакать. Оливье плачет, а воспитательница рассказывает, что его мать очень понравилась персоналу роддома, а затем и яслей, и все думали (желали?), что она изменит свое решение и не откажется от ребенка. Все так думали, хотя и не говорили об этом вслух.

Во время очередной медицинской легучки сиделки стали обсуждать этот вопрос и сожалели, что, видимо, ошиблись. Сразу же после этой легучки Оливье и заболел, хотя не присутствовал на ней.

Я молча слушаю этот рассказ, делаю записи, смотрю на Оливье, а он смотрит на меня и плачет. Когда рассказ о его короткой жизни подходит к концу, он перестает плакать и я говорю ему:

— У тебя очень хорошая и мужественная мать, она знает, что не сможет тебя воспитать, как ей хотелось бы, и она приняла решение, которое считает хорошим для тебя: пусть тебя возьмет и воспитает другая семья. Люди, которые тобой сейчас занимаются, ничего тебе об этом не говорили, но надеялись, что твоя мама изменит свое решение — возможно, они внушили эту надежду и тебе. Сейчас они понимают, какая хорошая у тебя мама: она сказала правду, она действительно ради твоего блага хочет, чтобы тебя воспитала другая, приемная семья. Она хочет, чтобы у твоих приемных родителей кожа была не такая, как у тебя, а другого цвета. У тебя кожа черного цвета. Сейчас еще неизвестно, удастся ли найти для тебя приемных родителей с другим цветом кожи. Но тебе вовсе не нужно менять свою кожу. Ты всегда будешь сыном мужчины и женщины, которые тебя зачали, и твои настоящие, биологические родители навсегда останутся в тебе. До свидания, увидимся через неделю.

Неделю спустя Оливье прибывает ко мне на руках нянечки, которая привезла его из яслей. Я сразу вижу, что кожа у него совершенно очистилась, и это меня очень удивляет. Но я ничего об этом не говорю, нянечка тоже. Дыхание же, напротив, стало более затрудненным, чем прежде. И в яслях планируют подвергнуть ребенка серьезному обследованию. Пока нянечка говорит, Оливье засыпает и во сне дышит так же шумно. Нянечка рассказывает, что он много плачет, стремительно опустошает рожок с питанием, следит за ним глазами и улыбается после кормления. Она также сообщает, что скоро должно состояться первое заседание семейного совета и что мать

Оливье не изменила своего решения. При этих словах Оливье открывает глаза, обращает к нам туманный взгляд, затем снова засыпает, но теперь он громко дышит уже не носом, а ртом.

Я начинаю говорить ему, поглаживая пупок сквозь рубашечку:

— Когда ты находился в животе у своей мамы, ты еще не дышал. Твоя мать кормила тебя через плаценту, с которой ты был связан, соединен пуповиной. Эта пуповина шла вот отсюда, где лежит моя рука. Когда ты родился, ее перерезали. То, что я трогаю рукой — это твой пупок. Это шрам, который остался от пуповины. Когда ты родился, ты дышал, пуповину отрезали, ты отделился от своей матери, которая этого захотела. Может быть, ты дышишь так плохо потому, что надеешься снова найти мать, чтобы все было, как прежде — когда ты находился в твоей матери и еще не дышал. Но если ты решил жить, ты не сможешь жить не дыша. Твоя мать — в тебе, в твоём сердце. Тебя разлучили с ней не потому, что ты начал жить. И даже если ты не будешь дышать, тебе это не поможет снова ее найти.

Все это я говорю спящему Оливье. Постепенно его дыхание становится тише. Когда я замолкаю, то с волнением замечаю, что он дышит носом, его дыхательные пути очистились, шумы исчезли, я ощущаю только легкое дуновение от его дыхания. Я прямо-таки ошеломлена этим результатом. Мне хочется сказать об этом вслух, обратить на это внимание нянечки, словно я не верю собственным глазам и ушам.

Через месяц я узнаю, что дыхание у Оливье полностью нормализовалось. Уже подыскали и семью, готовую его усыновить. Через несколько дней состоится ее первая встреча с ребенком — ему исполнилось три месяца и неделя.

Возвращаясь к этому случаю (одному из первых), я очень четко вспоминаю свои мысли, чувства, ощущения: как в начале консультации я сомневалась, что сумею понять смысл болезненных симптомов, которые заметила у Оливье, выявить *первопричину его страдания*, как учил Лакан, а не просто лечить его внешние *симптомы*. Вспоминаю, какое волнение и страх я испытывала — ведь теория учит лишь общим правилам, как читать подсознание, но каждый сеанс — всегда первый и неповторимый. Помню, как сильно были напряжены у меня мышцы и психика, пока я слушала рассказ о ребенке, но как уже гораздо легче мне было выражать словами чувства и мысли, которые породил у меня рассказ о его жизни. И как мне помогла внутренняя убежденность, что он меня понимает. Но какая усталость и опустошение наступили у меня после консультации! И как согревало меня воспоминание о Франсуазе Дольго, которая принимала детей, уже не расставаясь с кислородным баллоном — в одном шаге от смерти и при этом такая живая. Еще одно расставание.

Мать Оливье сознательно дала ему жизнь. Отделение одного тела от другого было запрограммировано и произошло не в больнице, а в машине «скорой помощи», то есть почти в домашних условиях. И сразу же после появления на свет ребенок попал под заботливую государственную опеку. Благодаря этому он ощутил свое тело. И ощутил себя субъектом, желанным для окружающих.

Персонал яслей не мог удержаться от разговоров по поводу его матери и вполне естественных рассуждений, что «если она хорошая мать, то не покинет своего ребенка». Выражая подобным образом свои мысли, нянечки принимали желаемое за действительное.

Как раз после этого у Оливье начались кожные высыпания, происхождение и характер которых врачи так и не установили. Он изо всех сил старался подчиниться воле своей матери — быть усыновленным семьей с иным цветом кожи, который он тоже сможет перенять. Известно, что малыши верят, что у них тот же цвет кожи, что и у человека, который заботится о них.

Но для того, чтобы Оливье естественно и без осложнений привыкал к новым родителям, он должен знать, что его биологические отец и мать всегда будут оставаться в нем.

Так как нянечки надеялись, что биологическая мать Оливье вернется за ним, ребенок, настроенный позитивно по отношению к ним, не почувствовал пустоты, которую неизбежно порождает любая разлука с матерью. Но как только они вслух признали эту пустоту, Оливье сам пытается воссоединиться с матерью в единое тело, возвратиться к тому состоянию, когда он не был в одиночестве, а находился в своей матери — до того, как была перерезана пуповина. Перерезанная пуповина, неизбежно означающая отделение одного тела от другого, для Оливье стала означать еще и то, что с материнским телом он может воссоединиться не иначе, как только внутри себя.

Рассказав Оливье о пережитом им болезненном разрыве, я надеюсь, помогла Оливье ужиться со своим собственным телом и спокойно расстаться с другим телом — телом матери.

ЗОЕ, НАРКОМАНКА ОТ РОЖДЕНИЯ

Зое — три месяца. Представив мне эту малышку, сопровождавшая ее сотрудница яслей рассказывает мне историю Зое.

Мать родила девочку анонимно. Имя ей дали уже в яслях. Несколько дней назад Зое получила официальное право быть удочеренной: ее биологические родители не воспользовались положенным трехмесячным сроком, чтобы изменить первоначальное решение. При рождении она весила 3 150 граммов. Мать не видела ее после родов. Она рожала под общим наркозом и не пожелала видеть своего ребенка. Мать и отец Зое ВИЧ-инфицированы. Зная об этом, мать подумывала об аборте, но так и не сделала его. Я знаю, что эта женщина несколько раз проверяла кровь на вирус СПИДа еще до рождения первого ребенка и дважды до того, как забеременела Зое. Вдобавок она еще и наркоманка и продолжала принимать героин во время беременности. Поэтому, едва родившись на свет, Зое сразу проявила все признаки абстинентного синдрома и к тому же она родилась ВИЧ-инфицированной.

Зое прибыла в ясли, когда ей было восемнадцать дней. Все эти дни она оставалась в родильном доме, где ее отучали от наркотика. Поначалу она была очень живым ребенком и с удовольствием опустошала рожки с питанием.

Но когда Зое было пять недель, у нее после ванны внезапно останавливается дыхание, кожа становится синюшной, давление падает. Няня встряхивает девочку — та снова начинает дышать и засыпает. После этого тревожного случая, опасаясь за жизнь девочки, ее на десять дней перевели в больницу для медицинского обследования. Из больницы она возвращается с воспаленной кожей на ягодицах, и нянечки (учитывая ее ВИЧ-инфицированность), впервые надевают перчатки, хотя они затрудняют контакт с ребенком. Общее состояние Зое очень изменилось:

она много спит, сама ничего не просит, но охотно выпивает даваемые ей рожки с питанием и постепенно прибавляет в весе.

Ко мне на консультацию ее привезли из-за диареи, которая не поддается никакому лечению и усиливает раздражение кожи на ягодицах.

Зое равнодушно висит на руках у нянечки. Я с трудом пытаюсь поймать вялый взгляд ее почти закрытых глаз.

Меня крайне озадачил услышанный мною рассказ: я впервые сталкиваюсь с ВИЧ-инфицированным ребенком и могу лишь догадываться о возможной эволюции инфицированности у грудного ребенка. Я не могу не осуждать ее родителей, а это мешает мне слушать Зое. Но тут я вспоминаю, что диарея — это одно из проявления абстинентного синдрома. Вот теперь мне есть что сказать Зое:

— Тебя привезли ко мне потому, что мы все стараемся понять, почему у тебя не проходит диарея, которую врачи никак не могут вылечить. Эта диарея у тебя из-за матери, которая тебя никогда не видела. Когда ты была у нее в животе, твоя мать принимала наркотики и ты принимала их вместе с ней. Когда ты родилась, твои родители решили за тебя, что тебя воспитает другая, приемная семья. У них был контакт с вирусом, из-за которого можно очень сильно болеть. И неизвестно, долго ли они еще проживут. Ты лишилась и матери и наркотика, который она принимала. Тебя хорошо лечили, чтобы отучить от наркотика, но, возможно, не вылечили от тоски по матери. Я думаю, ты страдаешь из-за отсутствия матери, и я хочу встретиться с тобой еще раз.

Слушая меня, Зое с трудом приоткрыла глаза, но как только я умолкла, глаза ее снова закрылись. После этого у меня начались летние каникулы, и я снова увидела Зое только два месяца спустя.

Зое уже пять месяцев. Няня говорит, что девочка чувствует себя значительно лучше. Она ничего не говорит о диарее, а я не задаю никаких вопросов. Зое, рассказывает нянечка, улыбается, проявляет живой интерес к внешнему миру, хорошо держит головку. Я же вижу перед собой неподвижную симпатичную девочку, с пустыми глазами, у которой не могу пробудить никакого интереса, несмотря на все мои старания: я разговариваю с ней, протягиваю ей разные предметы, напеваю песенку. Руки у нее горячие, но лежат без движения, глаза ни на что не реагируют. Я рассказываю ей ее собственную историю и историю ее родителей. Только когда я произношу слова «твоя родная мать», она взглядывает на меня и слегка выпрямляется. Я собираюсь закончить сеанс, но тут она начинает громко плакать. Я говорю ей:

— Я думаю, ты плачешь оттого, что когда твоя мать была беременна тобой пятый месяц, произошло что-то неизвестное мне. Может быть, в это время твоя мать больше всего хотела сделать аборт. Но теперь ты родилась,

ты здесь, с нами, и ты можешь сама решить, хочешь ли ты жить.

Зое перестает плакать, закрывает глаза, и я прощаюсь с ней.

Месяц спустя я вижу, что Зое уже не такая сонная, как в прошлый раз. Она выглядит куда более оживленной и смотрит на меня с улыбкой, когда я разговариваю с ней.

Глаза у нее открыты, а взгляд — более веселый. По мнению нянечки, Зое чувствует себя очень хорошо. Кожа на ягодицах очистилась, к ней можно прикасаться голыми руками без перчаток. Последнее обследование не обнаружило вируса СПИДа в ее крови. Служба социальной помощи уже подыскала приемную семью, которая давно хочет усыновить ребенка, но еще не знает, что этот ребенок будет Зое. И сама Зое может уже думать о своих приемных родителях, хотя их еще не знает.

Пройдет еще два месяца и Зое (которой исполнится восемь месяцев) удочерит супружеская пара, которой дали информацию о биологических родителях Зое и о короткой жизни самой девочки.

Им сообщили также мое имя, так что у них есть возможность при желании обратиться ко мне, что они позже и сделают.

Родив ребенка под общим наркозом, мать Зое не видела ее после родов. Она не видела также, как перерезали пуповину. Она не признала младенца и не дала ему имени, что означало: она не хочет, чтобы он жил. Зое плохо перенесла расставание с матерью (вдобавок она отравлена наркотиком), но без осложнений пережила то, что осталась безымянной. Когда Зое было пять недель, произошел тот самый случай, когда после ванны у нее остановилось дыхание. Не нужно забывать, что при госпитализации происходит еще одно расставание — с персоналом яслей. В эту пору Зое не может ни жить, ни умереть.

Она своим телом воспроизводит процесс своего появления на свет: выход из воды (роды) провоцирует у нее утрату жизни (остановку дыхания). Ее глаза все время закрыты, как у матери, которая ее не видела, что означает отсутствие отношения к ней; желудок никогда не закрывается: она проглатывает содержимое рожков, когда ей их дают, но сама ничего не просит и тут же опорожняется через анальное отверстие. Зое пережила отсутствие наркотика, но не может смириться с отсутствием матери, которая не дала ей жизненной энергии — ни словом, ни своей волей. Первые пять месяцев Зое помогала жить забота всего ясельного персонала, и девочка переносила тлевший в ней огонек жизни на окружавших ее сиделок.

Контраст между тем, что говорила сиделка о хорошем самочувствии Зое и тем плохим состоянием, которое бросилось мне в глаза во время второй консультации, напомнил мне, что именно во время сеанса с помощью психоаналитика и переноса чувств (трансфера) заживляются подобные разрывы.

Но я не понимала, из-за чего Зое страдает. Я обратилась к ней со словами, которые уже приводила выше, но меня удручало собственное непонимание. Ее плач словно встряхивает меня — и тогда меня осеняет — ведь Зое сейчас сама подсказывает мне причину ее страдания, ее разрыва: с ней что-то произошло на пятом месяце беременности. Франсуаза Дольго учила нас, что если у ребенка в возрасте до девяти месяцев проявляются какие-то болезненные симптомы, расспросите родителей, что произошло в этот же срок, во время беременности.

Именно этим вопросом я и задавалась, когда говорила с Зое: возможно, когда мать Зое была на пятой неделе (или пятом месяце) беременности, она попыталась или настойчиво собиралась избавиться от ребенка — вспомним случай «внезапной смерти» Зое в возрасте пяти недель и ее полную протрацию в пятимесячном возрасте во время консультации — она воспроизводила то, что происходило с ней в утробе матери.

Но правильная интерпретация невозможна, если о состоянии ребенка рассказывает третий человек, не включенный *самым ребенком* в сеанс. Это нарушает курс лечения, блокируя ребенка от сферы учреждения, где он находится (или семейной сферы, если он живет с родителями), или школы. Только слушание в трансфере позволяет интерпретировать и объяснить ребенку то, что с ним происходит. Вот почему врач-психоаналитик никогда не спрашивает нянечек (или в других обстоятельствах — родителей) о наличии и проявлении болезненного симптома. То, что считают полезным сообщить о теле ребенка и его состоянии, формулируют и произносят в его присутствии, эта информация при нем записывается в досье (то есть у нее остается и письменный след), но все эти слова ни в коем случае не должны быть обращены к ребенку до того момента, пока он тем или иным способом не даст понять, что сам хочет об этом говорить.

Совсем иное происходит, когда нянечка сообщает информацию о *социальном статусе* ребенка или его родителей (то есть, когда речь идет об усыновлении, помещении в определенное учреждение, о юридическом решении, принятом в пользу ребенка). В этом случае, когда прямо и словесно формулируют решения, касающиеся тела ребенка и его взаимоотношений с обществом, такая информация превращает его в субъект этих разговоров и

помогает ему примириться с данным решением.

ФЛЕР, ДИТЯ ПОМОЙКИ

Прохладным днем, прогуливаясь по городскому саду, какой-то господин нашел новорожденную девочку, завернутую в розовые пеленки и засунутую в пластиковый мешок для мусора. Увидевшая это женщина отнесла малышку в полицейский участок, откуда ее отправили в больницу. Температура у нее была 35,5 градусов, а вес — 2 600 граммов. Левая ключица у нее оказалась сломанной, а пуповина аккуратно перерезанной. Врачи установили, что она родилась всего несколько дней назад. Ее назвали Флер .

Спустя тринадцать дней после того, как ее нашли, она поступила в ясли.

Ко всеобщему удивлению, девочка была вполне здорова. По закону она с первого же дня стала воспитанницей государства и власти принимали все меры, чтобы разыскать бросивших ее родителей.

Она оставалась здорова еще с месяц. После чего ее состояние в несколько дней резко ухудшилось: усилились до этого слабые хрипы в бронхах и кашель. У девочки начался бронхит, она стала задыхаться и на «скорой помощи» ее отвезли в больницу, в отделение реанимации.

Ясельная нянечка ежедневно навещает Флер в больнице и, по ее мнению, девочка чувствует себя плохо — она часто запрокидывает головку назад и не может произвести ни звука из-за интубации.

На шестой день пребывания Флер в больнице сотрудницы яслей обратились ко мне с просьбой помочь девочке. Я посоветовала одной из этих сотрудниц поговорить с Флер о следующем:

— рассказать ей о ее рождении (в связи с тем, что; она старается придать телу и головке положение, которое у нее было во время родов); сказать, что мы не знаем, в каких условиях она родилась, но знаем, как ее нашли;

— сообщить, что ее родная мать покинула ее живой и доверила воспитание ее государству и что сама Флер тоже осталась жива;

— сказать, что неизвестно, увидит ли она когда-нибудь свою родную мать, которую сейчас разыскивает полиция;

— нам кажется, что Флер сама не знает, чего она хочет: жить или умереть; к ее выбору отнесутся с уважением, но здесь, в больнице, врачи обязаны делать все, чтобы маленькие дети не умирали;

— объяснить Флер, что ее мать живет в ней, а девочка думает, что легочное заболевание поможет ей вернуть то время, когда ее с матерью связывала плацента.

Очень скоро сотрудница пришла ко мне, чтобы рассказать, что она говорила с Флер, пока та спала. Перед ее уходом девочка проснулась и внимательно посмотрела на нее.

После этого ее состояние, к изумлению врачей, стало быстро улучшаться. И спустя два дня ее разрешили выписать из отделения реанимации. Сиделки радостно сообщили девочке, что ее выписывают из больницы. Однако, выписку пришлось отложить. У Флер началась диарея, она отказывалась пить из рожка и стала терять вес.

Проконсультировавшись со мной по телефону, сотрудница яслей сказала Флер, что, как мы поняли, ей очень трудно покинуть больницу.

Увидев радость сиделок, сообщивших ей о выписке, она, видимо, решила что никто не считается с тем: хочет она сама жить или умереть. Но сиделкам платят именно за то, чтобы они лечили ее и помогали ей жить. А вот ее мать пока не нашли. И хотя сначала Флер заболела, потому что пыталась удержать мать в своих легких, а затем исторгнуть из себя с помощью диарей, ее родная мать навсегда останется в ней. Все это девочка выслушала очень внимательно, нахмутив брови. Когда заговорили о диарее, она заснула.

После того как Флер вернулась в ясли, ее раз в две недели привозят ко мне на консультацию. Ее физическое состояние не назовешь стабильным: временами возвращается кашель, вес тоже колеблется.

На третьем сеансе нянечка сообщает, что Флер чувствует себя хорошо и у нее более живая реакция на все, чем прежде. Нянечка подчеркивает, что девочка стала более коммуникабельной, и ее здоровье вызывает уже меньше

беспокойства, разве что Флер остается все-таки несколько вялой.

Однако во время сеанса вся ее вялость исчезает. Она надрыдается от плача, демонстрируя, как я понимаю, свою боль и гнев, о чем я ей и говорю, попутно объясняя, почему она находится в яслях.

Прошло еще две недели и дыхательную гимнастику и массаж отменили: девочка кашляла теперь только, когда сердилась. Она начала улыбаться, ворковать, поднимать головку. Но на моих сеансах — никаких улыбок. Сдвинув брови, она очень серьезно слушает меня и смотрит во все глаза. Я буквально тону в огромных, широко распахнутых глазах Флер, которая напряженно, требовательно и не мигая смотрит мне прямо в глаза.

И чтобы не утонуть в ее бездонных глазах, я перевожу взгляд на ее живое лицо и нахмуренные брови. За несколько дней до заседания семейного совета, которому предстоит решить судьбу Флер, у нее началась рвота. А в день, когда ей сообщили, что подыскали приемных родителей, температура у нее подскочила *до 39 градусов*.

Во время сеанса, на котором все это мне сообщает нянечка, Флер, как всегда — сама серьезность. Я говорю ей, что у нее есть возможность обрести семью и мы надеемся, что она сама определит, подходит ли ей эта семья: «Ты сама решишь, нравится тебе эта семья или нет, как ты сама решала: жить тебе или умереть».

При этих словах Флер взглядывает на меня с легкой и обезоруживающей улыбкой и поднимает голову.

Еще две недели спустя Флер приезжает ко мне в последний раз вместе с приемными родителями.

Девочка уже несколько раз встречалась с ними в яслях, и эти встречи внешне прошли вполне благополучно. Ее внес на руках приемный отец. На время разговора он передал ее матери. Удобно устроившись на ее руках, она углубила свой взор в материнские глаза и ни разу не взглянула в мою сторону. Взволнованные родители рассказывают мне о первых встречах с Флер и о том, как они счастливы, что могут ее удочерить. И как они благодарны биологической матери Флер: покинув девочку, она тем самым подарила им возможность воспитать ребенка!

Факт остается фактом: Флер была выброшена на дорогу, как ненужный мусор. Она физически преодолела крайнее одиночество, боль, холод, голод, угрожавшую ей смерть (ведь она уже почти превратилась в предмет, так как ее нашли без признаков жизни).

Рассказывая и объясняя ей все, что с ней произошло и происходило, ей помогли выжить и психически, благодаря символическим и воображаемым связям, которые она смогла создать, слушая наши объяснения.

«Аккуратно» перерезанная пуповина, описанная в медицинском досье Флер, подтверждает, что реальное отделение одного тела от другого произошло. А легочные заболевания, начавшиеся после того, как Флер была принята миром, означают, что не произошло процесса символизации с помощью слов, начинающегося с момента получения ребенком имени. Флер оторвалась физически от своего источника жизни, а связаться с ним снова с помощью символов она не смогла. Ее тело, найденное на помойке и оказавшееся без каких-либо связей, начало болеть, начало умирать, чтобы не умереть, потому что, как писал Д.Васс, «желание жить рождается только тогда, когда в теле возникает угроза для жизни».

Важно было сказать Флер, что она «может умереть», если как субъект она на самом деле хочет и может жить, даже разлученная по воле матери с источником жизни. Ее биологическое тело оживает всякий раз, как только возникает возможность создать новую связь, отдаться жизни. Когда нянечки «ухаживают» за Флер, она посредством своей дыхательной системы демонстрирует, с каким трудом проникает в нее воздух, еще один источник жизни. На предстоящее заседание семейного совета, который должен упорядочить ее жизнь, она реагирует рвотой — на уровне пищеварительной системы. Когда ей сообщают о приемных родителях, у нее поднимается температура — и это у ребенка, который выдержал такой холод при переходе из внутриутробной жизни во внешний мир .

Если покинутый ребенок выживает, он вырастает куда более закаленным, чем другие дети: им движет желание жить, подвергнутое суровому испытанию. В современной больнице его телу практически не дадут умереть, а вот его психика — в опасности. Аналитическая терапия позволяет ребенку обрести внутренние семейные связи и в принципе уже к трем годам он может освободиться от зависимости от своих родителей (особенно если он их не имеет), даже если и нуждается еще в помощи взрослых.

Перечитывая свои заметки, я заметила, с каким доверием я говорила с четырехмесячной Флер о ее будущей приемной семье — я чувствовала, что она уже способна хотеть быть удочеренной и самостоятельно выбрать свою будущую семью.

Избранные ею родители с помощью слов признали родную мать девочки и ее настоящий возраст — пять месяцев

(а не просто менее девяти месяцев, как туманно выражаются иные приемные матери, умалчивая о настоящей матери ребенка, словно они сами произвели его на свет). Они признали и место ребенка в области символических связей.

И я подумала: как мало мы знаем о раннем развитии человеческого интеллекта!

КУКЛА БЕЛЛА

Когда Беллу впервые привезли ко мне на консультацию, ей было четыре с половиной месяца. В ясли она попала в двухнедельном возрасте.

Воспитательница, заведующая отделением и нянечка, которые сопровождают девочку, рассказывают при ней ее историю.

Белла родилась по истечении сорока одной недели беременности и при рождении весила 3 450 граммов.

На седьмой день ее пребывания в роддоме у нее началась такая сильная рвота, что ее на неделю поместили в больницу, в отделение для новорожденных. В ее досье записано, что еще в роддоме она начала улыбаться, а в больнице привязалась к ухаживающей за ней медсестре, которая подарила девочке плюшевую игрушку.

В двухнедельном возрасте Беллу отправили в ясли, потому что мать во время беременности не обращалась к врачам и родила ее анонимно. Известно, что ее мать — наркоманка и уже четыре года носит в крови вирус СПИДа. Белла родилась тоже ВИЧ-инфицированной. А ее рвоту и обезвоженность организма, которые произошли у нее на седьмом дне жизни, врачи квалифицировали и лечили как абстинентный синдром (то есть лечили от наркомании).

Сразу же после родов мать увидела ребенка и тут же попросила, чтобы его убрали. Неизвестно, говорила ли мать с девочкой, но имя Белла ей дала акушерка. Девочка показалась ей очень хорошенькой и она сочла, что имя Белла (означающее «прекрасная», «красавица») подходит ей как нельзя лучше. Об отце известно лишь, какой он национальности, и то, что он не женат на ее матери, которая живет одна.

По закону Белла уже перешла под полную опеку государства: трехмесячный срок, в течение которого родители имеют право признать своего ребенка, истек. Результаты анализов крови на вирус СПИДа вскоре стали негативными, но их регулярно повторяют. И семейный совет решил подождать еще несколько месяцев, прежде чем подыскать ей приемных родителей.

На консультацию ко мне ее привезли по следующей причине: за четыре с половиной месяца своей жизни Беллу уже трижды госпитализировали, причем каждый раз ее увозили на «скорой помощи»; и персонал яслей надеется, что ей поможет психоаналитик.

Когда Белле было пять недель, ей срочно удаляли грыжу яичника (самого скрытого символа ее будущей женственности), и хирург был вынужден удалить и сам яичник. На следующий день после операции она возвращается в ясли более спокойной, чем прежде, словно испытывая «облегчение», как показалось нянечкам. Может быть, ее больше не мучили боли.

В двухмесячном возрасте ее снова госпитализировали на две недели: у нее начинаются бронхит, респираторная недостаточность и диарея.

Замечено, что даты ее госпитализации каждый раз совпадают с отсутствием ухаживающей за ней нянечки. И так как у той приближаются каникулы, она сама проявляет беспокойство, как бы ее отсутствие не отразилось негативно на здоровье Беллы. Курс лечения у девочки довольно сложный: дыхательная гимнастика, медикаменты и прочие процедуры — все это требует круглосуточного ухода за ней.

В то время, как мне рассказывают о Белле, она удобно сидит на коленях своей нянечки и смотрит: на меня и всех присутствующих, широко улыбается, с удовольствием воркует, короче говоря — старается всем понравиться. Белла приводит в восторг всех присутствующих и все стараются развеселить ее еще больше.

И если меня что-то удивляет, так это моя собственная реакция: во-первых, эта девочка не приводит меня в восторг, как других, а кроме того, я не чувствую, да, не чувствую ничего из того, что она пережила. Ни ее появление на свет под буквой «X», ни ее позитивная реакция на вирус СПИДа, ни абстинентный синдром, ни ее частые

госпитализации не вызывают у меня никакого ответного чувства. После того, как я поработала уже с Оливье, Зое, Флер и другими детьми, я сама осознаю разницу в своих реакциях. Но когда приходит время обратиться к Белле, я мобилирую весь свой опыт, чтобы сказать ей то, что положено говорить в таких случаях: что она никогда больше не увидит свою родную мать, которая произвела ее на свет живой и пожелала, чтобы ее воспитала другая семья; что в первый раз ее положили в больницу, чтобы вылечить от наркотиков, которые принимала ее мать и она вместе с матерью; и что, возможно, легче вылечить от наркотиков, чем от разлуки с матерью. И что я хочу встретиться с ней еще раз, чтобы попытаться понять, почему ей так трудно привыкнуть к собственному телу, хотя она ждет приемных родителей.

Пока я говорю, Белла наклоняется вперед, отворачивается от меня, чтобы заглянуть в глаза нянечки. Когда я умолкаю, она тут же выпрямляется и снова начинает всем улыбаться.

Мы назначаем дату следующего сеанса. Я чувствую себя крайне неловко: у меня такое чувство, что произносила готовые, жодульные фразы, но так и не смогла понять, что же происходит с этой малышкой. Я близка к тому, чтобы задуматься: не пора ли мне сменить профессию?

В день, на который назначена следующая консультация, заведующая отделением яслей заранее предупреждает меня по телефону, что несколько дней спустя после первого сеанса у Беллы начался острый бронхит и ее срочно госпитализировали. В первые три дня ее состояние так стремительно ухудшалось, что пришлось перевозить ее на «скорой помощи» в отделение реанимации другой больницы, где дыхание ей поддерживают с помощью кислородного аппарата. Как раз сегодня сотрудница яслей идет навестить Беллу и спрашивает меня: что она должна ей сказать?

Моя собеседница жаждет услышать от меня важные для девочки слова, но я говорю лишь то, что подсказывает мне опыт, а не чувства, отсутствие которых меня очень тревожит.

День был утомительный, но все консультации младенцев прошли без осложнений. Обсуждая после работы трудный случай Беллы с моими коллегами, я прихожу к мысли, что вместо того, чтобы паниковать и немедленно менять профессию, нужно все-таки постараться понять, что же происходит с этим ребенком.

Я беру заведенное мною досье и начинаю вспоминать первую встречу с Беллой. Поведение сотрудниц яслей было вполне обычным: они не могли скрыть беспокойства по поводу здоровья Беллы. Однако в медицинской карте нет ни одной записи, которая отражала бы что-то тревожное. Зато я отметила: «Белла очень коммуникабельна». Как правило, я не употребляю этого термина, но в данном случае мне подсказала его сотрудница яслей.

Я задумалась об этом и вспомнила, какой увидела Беллу: она выглядела явно старше своего возраста, так как целый час просидела совершенно самостоятельно и вдобавок непрерывно ворковала, улыбалась и играла. Настоящая куклолка! Вот именно, куклолка, в которой не было ничего настоящего. И тут я поняла, почему она не вызывала у меня ответного чувства: безжизненные куклы уже давно не интересуют меня.

В своих записях я отметила также перемену в ее поведении, тот минутный уход в себя, когда я обратилась к ней, хотя ничего существенного я не сказала, потому что в тот день еще не осмелилась признать и тем более выразить вслух свою отстраненность, которая мешала мне действовать, как в других случаях. Я была уже готова признать свою полную несостоятельность и забыла об эффекте контр-трансфера (контр-переноса). Забыла, что анализируемый человек, и в частности его трансфер, могут вызывать у аналитика сумму бессознательных реакций или контр-трансфер.

И только теперь, вспоминая эту, по сути, не удавшуюся встречу, я впервые испытала горячее участие к этой малышке: не успело ее тело отделиться от тела матери, как она была с ней разлучена. Но девочка показалась очень хорошенькой акушерке, и та сразу же дала ей имя — с этого и начался для девочки процесс символизации, связанный с собственным именем. Ее связи с источником жизни были еще столь слабы и непрочны, что она, видимо, решила, что для того чтобы выжить, она должна изо всех сил стараться походить на собственное имя. И она так силилась быть для всех милой и красивой, что превратилась в маленького робота. Этот грудной ребенок подчиняется требованию «быть всегда хорошей», которое, как ей кажется, предъявляют ей все взрослые. Она старается жить, но живет все время притворяясь. Как я позже узнаю, она всегда так обворожительно улыбается, что все взрослые уже издали обращают на нее внимание, стремятся ее приласкать и приходят в восторг от этого жизнерадостного и красивого ребенка. Все это убеждает ее, что она ведет себя правильно и должна притворяться и впредь. Когда ей становится неважно сдерживать затаенную боль и подавляемый бунт, она очень тяжело заболевает.

Болезнь — единственное состояние, когда она позволяет себе не притворяться и быть естественной, «настоящей», то есть освободить от узды свое тело, заведомо зная, что все равно привлечет к себе всеобщее заботливое участие

и внимание. Ведь рассказывая мне о Белле, ее называли или очень «коммуникабельной» или «очень больной». Между этими двумя состояниями — ничего другого, пустота.

С каким нетерпением ждала я теперь телефонного звонка от сотрудницы яслей! Наконец-то Белла стала для меня живой и понятной, и мне было гораздо проще и легче объяснить, что мне самой открылось в этой девочке. Я попросила сотрудницу как можно скорее вновь навестить девочку в тот же день. С волнением слушала я рассказ о том, как Белла сильно сжала ее руку, когда та заговорила обо мне.

После этого дыхание у Беллы нормализовалось и она уже могла обходиться без кислородного аппарата. Когда она увидела заведующую отделением яслей, она встретила ее широкой улыбкой до «самых ушей». Сотрудница яслей сказала Белле, что она вовсе не обязана улыбаться ради того, чтобы о ней заботились и Белла перестала улыбаться. Сотрудница сказала также, что девочка вовсе не должна каждый раз тяжело заболеть, чтобы выразить свою боль: ее смогут понять и останутся с ней, даже если она будет грустной. Белла заплакала, чего раньше никогда не случалось, и плакала полтора часа. Сотрудница яслей не пыталась утешить девочку, но ни на минуту не отлучалась от нее и продолжала говорить с ней, несмотря на плач, хотя это было довольно тяжело.

Я не буду подробно рассказывать, что было дальше. Скажу лишь, что никаких внезапных чудес не произошло. Но в последующие месяцы Белла заразилась благословенной для нее в ту пору болезнью — ветрянкой, которая так изукрасила ее красивое личико, что никто уже не сбегался, чтобы полюбоваться на эту обворожительную кроху. К очередным каникулам ее любимой нянечки на сей раз тщательно подготовились: на эти дни Беллу поместили в больницу для дополнительного обследования.

Не успела девочка вернуться в ясли, как у нее начались отит и пневмония. Но они протекали не в тяжелой форме, и Беллу лечили в яслях. И это было очень важно, потому что до сих пор Белла, чтобы выразить свое естество, всякий раз оказывалась на грани жизни и смерти. И у меня есть основания предполагать, что быть «настоящей» для Беллы — это как раз и означало «умереть».

Тем временем врачи после долгих наблюдений и размышлений пришли к выводу, что потребляемое ею питание помимо пищевода попадает и в «другое горло», то есть в трахею, куда оно проникает в виде столь мельчайших частиц, что их невозможно выявить с помощью клинических анализов. Тем не менее они служат постоянным переносчиком инфекций, которые вызывают у Беллы легочные заболевания. В числе прочих рекомендаций они посоветовали отменить рожки и перевести девочку на более основательное питание. Вопреки нашим ожиданиям, Белла охотно перешла на обычную пищу.

Совпадение? Но совершенно независимо от меня эти врачи тоже сочли, что у Беллы все обманчиво и ложно: она вроде бы очень охотно пьет из рожков и никогда не задыхается во время кормления, а на самом деле пища попадает «не в то горло». То же самое и с ее постоянной чарующей улыбкой, которая производила на всех совершенно обманчивое впечатление и вовсе не отражала ее подлинного душевного состояния.

Теперь, когда я выхожу в зал ожидания, чтобы забрать Беллу на прием, она смотрит на меня совершенно серьезно и нахмутив брови. И уже никаких улыбок!

А перед этим несколько сеансов подряд она непрерывно плакала — от начала до самого конца. В ее поведении и плаче я подмечала едва заметные нюансы, которые старалась обозначить словами. Наблюдая ее физиологические проявления (например, перед сеансом у нее подскакивала температура), нарушения в дыхательной системе, хрипы и уже зная врачебный диагноз, я с помощью слов могла объяснить проблему «ложного пути» и постепенно выявить корни разрыва с «настоящим».

В десять месяцев Белла чувствует себя уже просто превосходно: теперь она (наконец-то!) сердится, если чем-то недовольна, не боясь при этом разозраться своим нянечкам. Она отказывается есть то, что ей не по вкусу, хотя еще недавно она охотно плотала все, что ей давали.

Она дорожит своими игрушками, потому что понимает, что ей что-то принадлежит.

Теперь она спит в яслях, в своей кровати, потому что болезненные симптомы прекратились и лечение закончилось.

Благодаря энергии и настойчивости нянечки Беллы семейный совет раньше намеченного срока пересмотрел вопрос об ее удочерении и свой первый день рождения годовалая Белла празднует уже в доме своих приемных родителей.

Я долго не могла понять, почему меня так увлекает психоанализ грудных детей, ведь я вовсе не отличаюсь страстной любовью к детям, тем более к грудным, да у меня и нет какого-либо особого дара угадывать их

ощущения. И только совсем недавно, разговаривая с другом-хореографом, я внезапно нащупала ключ к разгадке этого моего увлечения, которое уходит в мое детство.

Поскольку я упомянула хореографию, вы сами можете догадаться, что для меня существует определенная связь между хореографией и экспрессией тела. Как и все маленькие девочки, я мечтала стать танцовщицей, пока меня не охладило строгое родительское замечание: «Если хочешь быть артисткой, ты должна стать самой лучшей!»

Поскольку в детстве у меня было много увлечений, мне было нетрудно отказаться от карьеры профессиональной танцовщицы. Но я продолжаю заниматься танцем, который доставляет мне подлинное наслаждение, свободное от какого-либо тщеславия и внешне не связанное с моей психоаналитической практикой. Это наслаждение полностью зависит от профессионального уровня и доброжелательности педагога, главное для меня — не сама хореография, физические упражнения или «грация» танца, а осознание четкости и правильности совершаемого мною движения, и я целиком завишу от словесных оценок преподавателя. Если я слышу «хорошо», эта оценка оказывает на мое тело незамедлительное и долгодействующее воздействие и совершенно иной, лишь сиюминутный эффект, оказывают неприятные оценки вроде: «Держись прямо!» Ведь в данном случае от меня требуют казаться прямой, а не чувствовать себя прямой. И если уж сравнивать психоанализ с танцем, то психоанализ значительно сложнее искусства танца.

Суть психоанализа заключается в том, чтобы собственным телом почувствовать, какое воздействие на тело ребенка оказали какие-то слова и события, а затем обозначить словами эти ощущения, чтобы слова психоаналитика произвели, в свою очередь, необходимое воздействие на ребенка.

В данном случае нельзя сказать, что с нами говорит тело ребенка. Тело — это лишь сосуд, из которого до нас доносится язык подсознания.

Этот разговор с хореографом, который состоялся незадолго до моей встречи с Беллой и прояснил мне причины моего увлечения психоанализом, помог мне впоследствии понять и неудачу первого сеанса с Беллой: в тот день я еще не осознала, что из-за контр-трансфера (то есть несостоявшегося переноса чувств) тело этой малышки не оказывает на меня никакого воздействия, а предыдущий опыт и теоретические знания не могут подсказать, что же с ней происходит.

Как же так? Когда я в стольких случаях чувствовала консультируемых малышей, то полностью доверяла себе, а стоило мне однажды что-то не почувствовать, как я сразу разуверилась в себе и была уже готова сменить профессию. И объяснение, представьте себе, я снова нашла в танце. Научившись хорошо владеть своим телом, я стараюсь не вспоминать родительское требование «быть самой лучшей», но это не значит, что с возрастом я стала менее уязвимой: если у меня что-то не получается (в данном случае я не могла услышать и понять ребенка собственным телом), значит сама виновата, значит это моя ошибка. Когда во время моей первой встречи с Беллой я пыталась отыскать ответ на мучивший меня вопрос (что с ней происходит?), мне припомнилась теория Винникота, объясняющая случаи сотворения ложной личности, фальшивого «я», призванных спрятать и защитить подлинную сущность человека, его подлинное «я». И я хочу привести характерную фразу Франсуазы Дольто, которую она произнесла в начале сеанса с маленьким Домиником. Этот мальчик гордо заявил ей: «Я совсем не такой, как все. Иногда я просыпаюсь и думаю, что только что пережил настоящую историю». На что Франсуаза Дольто немедленно ответила: «Значит, тогда ты сам стал ненастоящим».

И только после того, как я научилась анализировать мои собственные возможности и способности к восприятию, я смогла «связать тело со словом» (по удачному выражению моего друга психоаналитика Люсьена Коха). Все это доказывает, что ни один психоаналитик не в состоянии проникнуть глубже того, чем позволяют ему собственные внутренние преграды.

Психоанализу не подвергают всех детей, которые содержатся в яслях. Это было бы не только невозможно, но и нежелательно. Но если какой-либо коллектив или учреждение берут на себя заботу о ребенке, они обязаны обеспечить ему необходимые условия для того, чтобы этот ребенок вырос человеком (мужчиной или женщиной), чье достоинство всеми уважается.

В яслях Антони, где уже давно осознали свою коллективную ответственность за своих питомцев, выработали два важных принципа.

Первое: помещение ребенка в ясли само по себе не является негативным фактором; напротив, оно «благоприятно для ребенка, если он понимает, что общество по отношению к нему несет определенные обязательства; и он тоже несвободен от обязательств по отношению к обществу и должен противостоять всему, что может привести его к преждевременной физической или психической смерти» (как писала Франсуаза Дольто).

Второе: ребенок в любом возрасте имеет право на психоанализ, если этого требует его здоровье. И ребенка обязаны рассматривать не просто как носителя симптомов семейной патологии, а как «самостоятельный субъект». Он не только имеет «право на слово»: это слово должно быть «услышано» и воспринято, как мы воспринимаем любую информацию. Если он не говорит или еще не умеет говорить, его тело способно рассказать о пережитом или переживаемом им опыте. Тело может рассказать не только о нанесенном ему физическом ущербе или симптомах внутренних заболеваний, но и о страданиях личности.

Поводом для консультации у психоаналитика могут служить как физиологические нарушения (нарушения дыхательной системы, повторяющиеся инфекционные заболевания, нарушения в пищеварении, кожные заболевания и т. д.), так и поведенческие (недостаточный динамизм, некоммуникабельность, аутизм, склонность к насилию, расстройство речи). И в этих случаях очень важно взаимодействие биологии с психоанализом, что наблюдается не часто.

Говоря о таких серьезных нарушениях, было бы упрощением утверждать, что человек заболевает потому, что его не любят и что любовь способна разрешить все проблемы. Никакие заботы не могут иногда помешать таким детям умереть — столь велики испытываемые ими страдания, препятствующие также и процессу символизации. Так случается чаще всего тогда, когда не стремятся выявить корни происхождения этих страданий.

ГЛАВА 2. ПАПА УБИЛ МАМУ

Не всем повезло стать сиротой. Жюль Ренар

Психология убийц притягивает всех и каждого. Убийство, совершенное из ревности, служит неиссякаемым источником для художников слова и кино. Во Франции к подобного рода преступлениям относятся даже с некоторым снисхождением. Вся пресса, к великому удовольствию своих читателей, непрерывно пишет об убийцах. Телевидение также предоставляет им слово, и расценки за их откровения прямо пропорциональны любопытству благодарной публики, довольной тем, что видит их за решеткой. Детская преступность пугает взрослых — ведь каждый из них может стать жертвой малолетних преступников и понимает, что нельзя отмахиваться от этого социального зла. Известно, что представительницы женского пола среди убийц и малолетних преступников в меньшинстве (позитивный результат общественного порядка, где доминируют мужчины?).

Условия жизни детей, родившихся в тюрьме, во время заточения их матери за совершенное ею преступление, также не обойдены вниманием; их изучают и вносят изменения в условия содержания, чтобы сохранить связь матери с ребенком. Жестокое обращение с детьми и преступления, жертвами которых становятся дети, вызывают яростное возмущение и даже расправы, в том числе среди заключенных. О таких фактах сообщают лишь в разделах происшествий, подогревая пылкую убежденность сторонников смертной казни. Гнев и отвращение, которые вызывают у нас убийцы, некоторым образом отражают нашу неспособность каждый раз противостоять собственным садистским наклонностям, которые мы проявляем по отношению к детям: кто не помнит, словно это было вчера, унижения, испытанного в детстве? Кто ни разу в жизни не злоупотребил властью в отношении ребенка? Разве возникла бы необходимость принимать Всемирную Декларацию прав ребенка, если бы эти права столь часто не нарушались в мире, претендующем на то, чтобы именоваться цивилизованным?

Однако, насколько мне известно, до сих пор мало кто занимается нарушениями, которые бывают у детей убийц, появившихся на свет в момент трагедии. Их крайне редко приводят на консультации к психоаналитикам. Если такие дети живут в семье, то близкие делают все, чтобы сохранить свою драму в тайне. А если эти дети переходят под опеку государственного учреждения, там делают все, что ребенок на самом деле или хотя бы внешне забыл, что произошло с его родителями. Однако некоторым психоаналитикам приходилось иметь дело с людьми, чьи предки совершили преступление или участвовали в коллективном преступлении (особенно во время последней войны). Я консультировала маленьких детей (родители которых были убийцами) в то время, когда они жили в яслях Антони или уже в приемных семьях. Детские страдания, особенно если их первопричиной послужило насилие, доставляют много хлопот людям, которые взяли на себя трудную задачу: усыновить и воспитать таких детей.

То, что сокрытие факта усыновления может оказать более разрушительное воздействие, чем правда о происхождении ребенка, хотя и не без труда, но все же вошло в коллективное сознание нашего общества. Но это не распространяется на случаи, когда родители совершили преступление, независимо от степени его тяжести. И вот их дети должны как-то строить себя, свою личность, имея за плечами такой страшный жизненный опыт — утрату близкого человека (чаще всего — матери, брата или сестры) и разлуку с родителем, который к тому же еще и убийца.

Что делать в таких случаях, когда один из родителей убивает другого, а ребенок является сыном или дочерью одновременно и убийцы и его жертвы? Нужно ли говорить ему правду? И в какой форме?

Не хуже ли замалчивать подобные факты, если мы хотим позволить ребенку самостоятельно найти ответы на такие трудные вопросы — в соответствии с действующими в стране законами?

Опыт показывает, что когда от ребенка скрывают правду, дабы не подталкивать его к извращенной идентификации или желая уберечь его от «травматизма», — это замалчивание на деле не только не спасает от травм, но приводит к различным патологическим проявлениям в нескольких поколениях.

Вот, к примеру, одна короткая история — хотя таких историй можно было бы привести великое множество.

Девятнадцатилетняя Н. - мать маленького мальчика, которого по решению суда поместили в ясли, чтобы оградить от жестокого обращения со стороны матери. Сама она с младенческого возраста была воспитана приемной семьей, о которой сохранила самые добрые воспоминания. Ей никогда не говорили, кто были ее настоящие родители и почему ее удочерили. В восемнадцать лет она сошлась с человеком, который начал ее бить с первых же дней беременности. После родов ей трудно было заниматься сыном. Как раз в это время она разыскала, наконец, своих биологических родителей и узнала, что ее отец убил одного из ее братьев, когда ей самой было всего два года.

Ее сожитель продолжал избивать и ее и сына. Во время одной из таких семейных сцен она сама побила сына, после чего ее арестовали, а ребенка поместили в ясли. На суде всю вину за жестокое обращение с сыном она взяла на себя. Хотела «выгородить» своего друга, как она сказала мне потом.

Сама она не видела никакой связи между своим прошлым и сегодняшними проблемами.

Люди, которые хотели «защитить» ее от страшной тайны, на самом деле невольно подтолкнули эту молодую женщину (против ее собственного желания) перевести историю ее семьи не в слова, а в действия.

Ее сын, который попал в ясли в двухмесячном возрасте, а ко мне — шестимесячным, явно отстает в своем развитии: он плохо двигается и ему не хватает коммуникативности, что с возрастом может усугубиться.

Даже в тех случаях, когда решаются сказать правду ребенку, нелегко найти необходимые щадящие слова. Да и правда от этого не становится менее ужасной. Поэтому чаще всего и стараются «защитить» ребенка от этой правды, хотя и понимают, что ничего это ему не даст.

В итоге ему или вообще ничего не говорят («ребенок еще слишком мал, чтобы что-то понять»), или сообщают лишь часть правды. Обычно также фальсифицируют факты: папа уехал, мама скоро вернется; он или она сделали это не нарочно. Лишь бы ребенок не узнал, что его родители преступили закон. Люди опасаются, что это горькое знание причинит ребенку не только боль. Они полагают, что у него возникнет искушение поступить таким же образом («каков отец, таков и сын»).

Почему нам, взрослым, так трудно говорить с детьми о преступлениях, которые совершили их родители? Почему мы думаем, что ребенок не способен «строить самого себя», проникаясь при этом уважением к закону, а не следовать модели поведения своих родителей? Почему мы стараемся показать себя всегда только в выгодном свете и замалчиваем наши слабости? Стоит ли так уж бояться критических суждений наших детей? Ведь живя в обществе, где все должны подчиняться одним и тем же законам, ребенок никогда не осознает себя личностью, если ни разу не осмелится критически оценить поступки своих родителей.

Раньше или позже, но ребенок должен начать строить свою собственную жизнь, исходя из своих личных склонностей и способностей. И, не стараясь лишь повторять жизнь своих родителей — пусть даже самых замечательных!

Нас всегда крайне удивляет, когда закон нарушают дети и подростки из «хороших семей». При этом мы легко признаем, что кто-то из наших благополучных знакомых может происходить из неблагополучной семьи. В таких случаях мы лишь говорим: «Он (или она) сумел во-время выпутаться». То есть, когда речь идет о других, мы все-таки интуитивно признаем, что если даже человек в какой-то период жизни идентифицируется со своими родителями, он вовсе не обязательно будет им во всем подражать. А вот для собственных детей мы всегда стремимся оставаться моделью и пуше всего не любим их критики.

Сейчас вы познакомитесь с историями детей и с переживаниями взрослых (в том числе и работавшего с этими детьми психоаналитика), которые напомнят вам издревле знакомую и великолепно описанную в мифологии ситуацию: человек, которому мы полностью доверяли, вдруг превращается в безжалостного и смертельного врага.

И такие родители, предстающие людоедами и убийцами, вызывают у нас самое сильное оттолкновение. Когда мы познакомимся с историей убийцы, нам бывает очень трудно признать, что перед нами вовсе не монстр. Ведь если он не монстр, то на его месте могли бы оказаться и вы, и я.

Мы часто путаем экономический прогресс с уровнем нашей цивилизованности. Детей в нынешнем обществе рождается на свет меньше, чем в прошлые времена. Это соответственно повышает для нас ценность каждого ребенка. Но когда мы сталкиваемся с детьми, для которых жизнь в семье — это ад, и обществу приходится брать на себя их воспитание, нас охватывает смятение: как такое возможно в сегодняшней Франции, в ее самых разных социальных слоях? Какой прок от всех наших великолепных медицинских, технических и экономических завоеваний, если, успешно решая проблемы выживаемости и материального комфорта, мы не в состоянии при этом обеспечить детям элементарное человеческое существование?

Как психоаналитику мне было очень трудно работать с такими детьми и вместе с ними восстанавливать их психику.

Почему на первых порах я не могла не осуждать их родителей, хотя прежде подобная проблема никогда не вставала передо мной?

Отсутствие «осуждения» не означает отсутствия клинического диагноза, но если психоаналитик «осуждает», это почти всегда означает, что себя он считает «лучше» родителей ребенка, которым он в данный момент занимается. В этом случае психоаналитик перестает быть врачом и становится опасным для ребенка, поскольку никогда не имеет права подменять собой судьбу по делам несовершеннолетних и их родителей.

Меня крайне беспокоило, что мое отношение к родителям ребенка может помешать мне услышать и понять, что чувствует ребенок. Работая с такими детьми, я — не без мучительных сомнений — пришла к очевидной истине: отсутствие критического отношения к родителям не должно быть самоцелью — оно необходимо мне как психоаналитику, чтобы выслушать и понять ребенка; но как член общества я имею полное право вырабатывать свою оценку чьего-либо поведения — в соответствии с общепринятыми нормами и законом.

Эта истина не представлялась мне столь очевидной, когда своих детей ко мне приводили родители, которые слыли безупречными и никто в обществе не считал их преступниками. В этих случаях или само общество санкционирует их преступность, или мы при закрытых дверях, в своих кабинетах, узнаем о тех извращениях, которым подвергают родители своих детей и вынуждены сохранять тайну. Во время курса лечения невозможно говорить и делать все, что считаешь нужным, особенно если перед тобой маленький ребенок. Можно, конечно, отказаться продолжать курс лечения, чтобы не стать соучастником извращений таких родителей, которые остаются для общества вне подозрений, но нередко это еще труднее, чем говорить с ребенком о преступлении, совершенном его родителем и подлежащем наказанию в нашем обществе. Если преступление уже свершилось, его непоправимость не делает его менее страшным. Я не хочу отмахиваться от тех, кто упрекает психоанализ и особенно детский психоанализ в приверженности к нормативности. Но не нужно, на мой взгляд, путать две совершенно разные позиции: *можно объяснить саму норму и почему общество приняло это как норму, а можно навязать норму в качестве идеала.*

Андре Грин в своей работе «Ребенок-модель» задается вопросом: какие задачи может ставить перед собой психоаналитик помимо формирования «образцовых детей», даже если он действует в соответствии с желанием самого субъекта? Во время лечебного курса важно не только сформулировать закон или внушить уважение к запрету как таковому, что, однако, не должно сочетаться с воспитательными задачами. Психоаналитик решает проблему восстановления психики.

Когда психоаналитик работает с ребенком, то желательно, чтобы он ставил перед собой задачи, отличные от педагогической и решения проблемы адаптации, и я думаю, что все психоаналитики так и делают, независимо от того, признают они это или нет.

ЗАЧЕМ ЖИТЬ?

Мелина, которой полтора года, приезжает ко мне впервые спустя три месяца после помещения ее в ясли при драматических обстоятельствах: ее доставила туда на рассвете полиция после того, как обнаружила, что трехлетняя сестренка Мелины была изнасилована и убита их родным отцом. В настоящее время оба родителя Мелины находятся в тюрьме: отец — по обвинению в жестоком обращении, которое повлекло за собой смерть ребенка, а мать — в соучастии и неказании своевременной помощи своей дочке, которой угрожала опасность.

Воспитательницы, которым было поручено заниматься Мелиной, предварительно договорились между собой, как сообщить Мелине, что ее родители арестованы. И они сказали девочке, что все это из-за того, что ее сестра умерла, потому что она не хотела и не могла больше жить.

Мне было неловко слушать воспитательницу из Службы социальной помощи, которая рассказывала мне историю Мелины, неподвижно прильнувшей к нянечке. Этой воспитательнице было явно не по себе, и когда я услышала эту двойственную формулировку, приписывающую странное «желание» или вернее «нежелание жить» умершей сестре Мелины (получалось, что тем самым воспитательница оправдывает поведение родителей: девочка не хотела жить — потому они ее и убили!), то поняла, почему сама чувствую себя так неловко, и сочла необходимым прервать ее:

— Никто не может сказать, что хотела твоя сестра, которая теперь мертва, и ты ее больше не увидишь. Ее убил твой отец — я не знаю, почему. Он находится в тюрьме, потому что ты живешь в обществе, где запрещено причинять вред детям и их убивать. Твоя мать тоже находится в тюрьме, потому что она должна была защитить твою сестру, а она не смогла это сделать. Дети не могут оставаться с родителями, если те находятся в тюрьме. Вот почему ты теперь живешь в яслях. Твои родители живы, твоя мать думает о тебе и просит разрешения увидеться с тобой, но ей пока этого не разрешают.

Стоит ли говорить все это полуторагодовалому ребенку?

Всю короткую жизнь Мелины за ней присматривал отец, безработный. В течение дня он, возможно, на ее глазах истязал старшую сестренку Мелины, но ей самой он не причинил физического вреда. По вечерам Медина видела и мать, которая где-то работала. Девочка и мать были очень привязаны друг к другу. Больше Медина практически никого не знала и не видела: у ее родителей не было ни родственников, ни друзей. После трагической сцены насилия, о которой мать Мелины расскажет мне позже, после того как девочка увидела растерзанное тело сестры и на ее глазах полиция арестовала ее родителей, применяя при этом физическую силу, чужие люди увезли ее в чужое место, где она больше не видит ни сестры, ни родителей. Первые два месяца она оставалась довольно живым ребенком, поражая всех своей независимостью, молчаливостью и тем, что никому не позволяла прикасаться к себе, но потом она вдруг впала в апатию и безразличие. Скорее всего, несмотря на самый лучший уход, она просто исчерпала помогавшие ей до сих пор жить родственные узы, связывавшие ее с семьей. Когда ребенку полтора года, чтобы ни делали его родители, это «хорошо», а папа, который бьет своих детей, это и есть «настоящий папа». Начало жизни Мелины связано с насилием, а вступление в общество — с жестоким разлучением с близкими. Пережив этот грубый разрыв, покинутая и одинокая Медина «отказывается от самой себя».

Может быть, как и ее сестра, она должна «захотеть» умереть, чтобы вернулись ее родители?

Открыть в этой ситуации Мелине правду (в частности, кто из ее близких мертв, а кто жив), сказать о наличии закона и о том, что ее родители и она сама зависят от него, мысленно и реально привязать ее к матери — это означало вернуть ей чувство достоинства, мужества и силы, чтобы позволить окружающим взрослым людям оказать ей необходимую помощь.

Самостоятельность, которую поначалу демонстрировала Медина, проявляя свою псевдонезависимость — это была всего лишь попытка выжить самостоятельно (когда рассчитывают только на себя). Но выживание — это не жизнь, и вот теперь девочка впала в оцепенение.

Но даже полуторагодовалую Мелину не стоило поддерживать в мысли, что ее отец и мать — это люди, которые всегда поступают правильно и достойны подражания. Будет противоестественно позволять ребенку думать, что инцест и убийство — это вещи, которые допустимы для взрослых. Точно так же не стоит скрывать от ребенка испытания, которые претерпевают сейчас его родители.

При этом необходимо было сказать Мелине, что сама она — вполне достойное существо, родившееся от людей — достойных уже потому, что они дали ей жизнь, что бы они потом ни совершили. Наказание, которому их сейчас подвергают — неизбежно, потому что они совершили непоправимое — лишили жизни человеческое существо. Преступление, совершенное ее родителями, вовсе не ставит под вопрос происхождение и появление на свет самой Мелины — это важно знать каждому человеческому существу.

И еще важно правонарушение назвать правонарушением, если не стараешься его оправдать и стать по сути его соучастником.

Первые три месяца все сеансы подряд Медина непрерывно плакала и громко вопила, сидя на руках у нянечки или улегшись на полу.

Это были мучительные сеансы: Мелина покидала их обессиленная, я — тоже.

Однако в яслях, как говорили нянечки, она чувствовала себя лучше, она начала говорить, произносить «мама», играть с другими детьми и шалить. Она стала получать вести от родителей: почтовую открытку от отца и посылки с одеждой и игрушками от матери из тюрьмы.

Сопоставляя информацию, получаемую из ясель, и поведение Медины во время сеансов, я решила, что смогу выразить словами ту боль, что переполняла эту девочку. Слушая меня, она прижималась к нянечке, стараясь найти у нее утешение. Но понемногу она начала возвращаться к нормальному состоянию.

Когда Медине исполнился уже год и восемь месяцев, она посетила свою мать, которая по-прежнему содержалась в тюрьме — это была их первая встреча после того, как их разлучили полгода назад. Увидев мать, Мелина тут же направилась к выходу, но потом дала себя уговорить и уселась на коленях у сопровождавшей ее нянечки. Девочка не сделала ни одного жеста или шага навстречу матери, но во все глаза смотрела на нее.

Очень тактично, ласково и взволнованно мать заговорила с дочкой, сначала по-французски, а потом на родном языке. Она раскладывала перед ней свои подарки, даже не пытаясь взять девочку на руки или даже хотя бы коснуться ее.

Прощаясь, Мелина равнодушно позволила поцеловать себя, оставаясь на руках нянечки, и сказала «до свидания».

Во время сеанса, на котором мне рассказывают об этой встрече, Мелина падает на пол и, лежа на спине, громко вопит, не выпуская при этом руки нянечки, которая возила ее в тюрьму. Я говорю ей, что она, видимо, очень любит свою мать и поэтому так сильно обижается на нее за то, что она покинула ее в этих яслях. Но ее мать не хотела разлучиться с ней: их обоих разлучили против их воли, но теперь они смогут видеться. Так как Мелина лежит на полу в позе новорожденного, я говорю ей, что когда она была совсем маленькая и лежала в колыбельке, ее мать ухаживала за ней и они жили тогда вместе, сестра ее тогда еще не умерла, а отец не был в тюрьме. Внезапно Мелина прекращает плакать, встает с пола и выходит из кабинета.

Ближайшая встреча с матерью, назначенная через месяц, состоялась уже не в тюрьме, так как до суда ее выпустили из-под стражи. Поэтому мать получила теперь разрешение трижды в неделю посещать дочку в яслях. Она сразу же пожелала выводить девочку на прогулки, но это пока запрещено: вместе с другими детьми Мелина может сколько угодно покидать ясли, но во время свиданий с матерью Мелина должна оставаться в яслях.

Месяц спустя мать впервые сопровождает дочку на консультацию ко мне и будет приходить теперь почти на все консультации. Эта молодая женщина, отличающаяся редкой красотой, обливаясь слезами, расскажет мне — в присутствии дочки, которая по-прежнему отказывается к ней подходить, — все, что ей довелось пережить: детство в родительском доме, замужество по сватовству, переезд во Францию, жизнь в полной изоляции, физический ужас, который ей внушал муж, чудовищную смерть старшей дочки, грубость и безжалостность полицейских во время ареста, тюрьму... Единственное, что помогает ей теперь существовать — это надежда, что ей позволят жить с Мединой, хотя ей самой предъявлено обвинение и вот-вот состоится суд.

Она всячески старается задобрить и обласкать Мелину, засыпая ее словами любви и подарками, и, несмотря на боль, с пониманием относится к недоверию, которое проявляет пока дочка: мать ни в коем случае не хочет причинить ей зла и заставить ее плакать. В конце этого разговора я сказала Мелине: «Твоя мама понимает, что должна снова заслужить твое доверие, так как она не смогла защитить твою сестру и помешать вашей разлуке». Услышав эти слова, Мелина отщипнула кусочек пластилина и протянула его матери.

Последующие месяцы мать и дочь одновременно приезжали ко мне на сеанс. Отношения их станут более теплыми, хотя Мелина будет проявлять некоторую холодность и одновременно тираническую требовательность по отношению к матери. Девочка быстро усвоит, что мать, мучимая чувством вины, не может ей ни в чем отказать. Обретя новые, но стабильные отношения с матерью, Мелина почти сразу после сеанса будет теперь выходить за дверь, оставляя мать наедине со мной, и дожидаться ее в приемной.

Наконец наступил день, когда она вообще отказалась войти в мой кабинет, и я приняла только ее мать. После сеанса я спросила Мелину: «Нужно ли тебе еще приезжать, чтобы разговаривать со мной? Может быть, пусть лучше приезжает твоя мама, которая, как мне кажется, очень сильно страдает — как ты сама страдала, когда мы с тобой только встретились?» Мелина утвердительно кивнула головой.

Ее мать была потрясена. И теперь она, по предписанию своей дочки, могла уже самостоятельно продолжать у меня курс лечения вплоть до начала суда.

Отец Медины был приговорен к пожизненному заключению с лишением родительских прав. Мать, с которой

сняли обвинение в соучастии, была тем не менее приговорена к максимальному сроку за неоказание помощи находившемуся в опасности ребенку: пять лет тюремного режима и лишение родительских прав.

ПАПА, КАК ВСЕ

Алексиса привезли в ясли в полдень, когда ему было полгода. В девять часов утра его мать, впав в безумие, задушила его старшую трехлетнюю сестренку: эта женщина не узнавала собственной дочери и утверждала, что ее подменили. Отца в то драматическое утро не было дома. Понимая, что в одиночестве он не сможет растить сына, отец попросил забрать ребенка из дома и поместить в ясли, а мать сначала заключили под стражу, а затем перевели в психиатрическую лечебницу.

Как только Алексис прибыл в ясли, ему рассказали, что произошло в его семье и почему он оказался здесь. Во время этого рассказа он почти сполз на пол и несколько раз откидывался назад. В последующие дни он выпивал свой утренний рожок, но в полдень (в час его приезда в ясли) у него обязательно начиналась рвота.

Дома мать давала ему рожок прямо в кровати, избегая физического контакта с ребенком.

Спустя некоторое время нянечки поняли, что Алексис страдает из-за нарушения его родственных связей и что страдания эти начались еще раньше, когда он жил в семье.

Поэтому когда Алексису исполнилось девять месяцев, работники яслей решили обратиться ко мне. Отец Алексиса дал на это согласие и пообещал тоже приходить на консультации.

Войдя в мой кабинет, отец Алексиса представляется следующим образом: «Я папа, каких много». Затем он рассказывает, что, как он заметил, с его подругой было что-то не так, потому что она все время твердила: «Ты подменил Ноэми. У нее другие глаза». И добавляла: «Боюсь, как бы не наделать каких-нибудь глупостей». Встревоженный отец сам повел ее на обязательный медосмотр, когда Алексису было полгода, чтобы поговорить с врачом. Врач, видимо, не понял, что женщина бредит, и успокоил ее спутника. Одиннадцать дней спустя их дочка погибла. Он сам на днях вышел из больницы, так как пытался покончить с собой. Я спрашиваю: что он теперь собирается делать?

— Попытаюсь снова жить, если удастся найти женщину, которая сможет меня понять и согласится воспитывать моего ребенка. А если нет — покончу с собой.

И он добавляет:

— Теперь я вас видел и знаю, что если даже умру,

Алексис — в хороших руках. А своему сыну он говорит:

— Даже если я умру, тебя не покинут и воспитают, как надо. Они здесь для этого и существуют!

Несколько секунд я не нахожу, что сказать. Затем обращаюсь к Алексису:

— После того, как твоя сестра умерла, а мать положили в больницу, твой отец не хочет больше жить. Он полагает, что ты в нем больше не нуждаешься, раз в яслях тобой занимаются и ты приезжаешь на консультации ко мне.

И я говорю отцу:

— Я не отвечаю за Алексиса. И в любом случае не буду заниматься его воспитанием, если вы завтра умрете. Этим будут заниматься другие люди. Но никто не может ему вас заменить как отца. Для Алексиса вы не просто папа из многих других пап, вы — его отец.

У вас ведь тоже был отец. Я не знаю, занимался ли он вашим воспитанием, но во всех случаях у вас был только один отец!

Господин Б. дал согласие на мои встречи с его сыном и признал, что если даже сейчас он не в состоянии заботиться о ребенке, это не значит, что кто-то сможет ему заменить его как отца. Впрочем, у господина Б. - свои проблемы с правосудием. Уходя, он громко произносит: «У меня есть все основания быть недовольным нашим обществом!» Конечно...

Мое первое и непосредственное впечатление после этой консультации: «Это настоящая драма!» Господин Б. пытался ее избежать, но не сумел. Медицинские и социальные службы — тоже. Могла ли я сказать господину Б., что он — папа, как все, даже если он и чувствует себя таковым? Ведь он признал сына, дал ему свое имя, но не имеет родительских прав, так как не был женат на его матери. Но дело не в отсутствии родительских прав. Главное, он не чувствует себя отцом, способным выполнить свой долг в отношении детей, в частности обеспечить им физическую защиту. Он позволил матери лишить жизни их дочку и легко уступает другим право и обязанность воспитать своего сына, которому он дал лишь имя. Ничего или почти ничего не зная о его прошлом, я все же попыталась напомнить ему о его собственном отце, чтобы заставить его осознать, какую важную символическую роль играет отец в жизни ребенка. И то, что его функция как отца не сводится только к роли производителя и воспитателя. А также, что его имя — вовсе не одно из многих имен, оно означает субъект, живого человека, а не объект.

После этого нашего с ним разговора господин Б. сам проходит курс лечения, не заговаривает больше о самоубийстве и регулярно навещает сына.

Девятимесячный Алексис — красивый ребенок, но у него какой-то странный и непонятный взгляд. Ведь глядя именно в глаза дочке, его мать почему-то уверилась, что ей подменили ребенка. Так как Алексис чересчур прямо и напряженно держится на руках у нянечки, ей неудобно его носить: она вынуждена тоже быть в напряжении и все время менять руки. Видя, как неудобно Алексис сидит, я говорю ему, что, наверное, когда он жил дома, он должен был носить свою мать. Здесь он не должен носить нянечку, это она носит его. Пока я говорю, он на моих глазах сразу расслабляется и действительно позволяет себя нести. Я думаю, это открытие Франсуаза Дольто сделала, наблюдая за матерями и их детьми в «Мезон верт»: когда усталая женщина несет ребенка, она, естественно, устает от этого еще больше; и когда ребенок хочет уснуть у нее на руках, он ощущает это напряжение от усталости и сам старается «нести» свою мать. Этим, вероятно, объясняются иногда случаи внезапного засыпания, когда мать и дитя так устают от того, что долго носят друг друга, что в конце концов самый усталый из них просто валится с ног (и это может быть не обязательно ребенок!).

Что касается Алексиса, то напомню, что его отец согласен на пребывание сына в яслях, пока мать находится на излечении в больнице. Отец согласен также на его визиты ко мне и признает, что никто не может его заменить сыну как отца.

Во время следующего сеанса я замечаю, как у Алексиса чередуются два совершенно разных состояния. Он или с отсутствующим взглядом кладет голову на плечо нянечки и перекачивает ее из стороны в сторону (на том месте, которым он трется о плечо, даже не растут волосы). Или держится очень хорошо, смотрит на меня, играет с фломастером и вскрикивает, когда тот падает на пол. Правда, Алексис не ищет его взглядом, когда тот падает: упал, значит пропал.

Нянечка говорит мне, что в яслях Алексис чувствует себя лучше всего в своей кроватке, но часто третью головой и временами подолгу плачет. Отец тоже присутствует на сеансе и занимается сыном. Вид у него менее подавленный, чем прежде. Я говорю Алексису, что фломастер, который он уронил, лежит на полу, даже если он его не видит. Мать Алексиса, которую он сейчас не видит, — в больнице. И он ее, конечно, увидит. Его сестра умерла, и ее он уже никогда не увидит. Он слушает меня очень внимательно, не спуская с меня глаз. И как только я умолкаю, снова начинает тереться головой о плечо нянечки.

Тем не менее Алексис, который до девяти месяцев почти не двигался, но много плакал, быстро наверстывает упущенное и начинает двигаться вполне самостоятельно. Головой он качает теперь все реже и реже.

Когда Алексису исполнился год, мать прислала ему письмо, которое ему прочитали. Она написала сыну, как сильно хочет его видеть.

Отец продолжает навещать мальчика по воскресеньям и намеревается попросить, чтобы для сына подыскали временную приемную семью, которая проживала бы недалеко от его квартиры.

Когда Алексису исполняется год и три месяца, в его взгляде уже нет ничего необычного. Его глаза не кажутся уже такими огромными, а взгляд таким странным, как прежде.

Поскольку я никогда не говорила с матерью Алексиса и ничего о ней не знала, мне было довольно трудно представить себе жизнь Алексиса до того, как он попал в ясли. Я знала лишь, что его мать страдает депрессией и психическим расстройством, хотя Алексис и не был объектом ее бреда. Ноя могла предположить, что в ее поведении было немало странностей и что, ухаживая за детьми, она старалась как можно меньше их касаться.

Перемены, которые произошли в жизни Алексиса из-за смерти сестры, очень повлияли на него. Своевременно

сообщив ему о причине произошедших в его жизни разрывов, назвав и объяснив болезнь матери, я, естественно, не избавила его от страданий. Но после этого Алексис больше поверил в собственные силы и стал больше стремиться к независимости, в которой теперь так нуждался.

КАК СТРОИТЬ САМОГО СЕБЯ

Историю Луи (пять лет) и его младшего брата Шарля (четыре года) мне рассказали две воспитательницы из Службы социальной помощи детям. Луи и Шарль во время этого разговора не присутствовали. Старшая по возрасту сотрудница Службы не могла скрыть своего волнения, так как сама оказалась втянутой в эту драматическую историю около трех лет назад. По этой причине она и попросила, чтобы я приняла ее с коллегой по Службе до моей встречи с детьми.

Мать этих мальчиков, которую бил их отец, неоднократно обращалась к судье с жалобами на мужа. Однако судья не давал должного хода ее жалобам. Однажды, когда муж жестоко избил старшего сына, эта женщина забирает детей и убегает вместе с ними из дома. Ее мать и брат отказываются приютить ее с детьми. После нескольких дней скитаний она помещает детей в ясли. Но документы оформляются в такой спешке, что судья по делам несовершеннолетних забывает подписать ордер на временное помещение детей в ясли. Оба мальчика при этом переживают тяжелое потрясение. После того как Луи (два с половиной года) и Шарль (полтора года) несколько дней скитались с матерью в поисках крыши над головой, их теперь впервые в жизни грубо разлучают с матерью. В данной ситуации было решено, что только таким способом можно помочь этой женщине защитить детей от отца...

Отец же, который внушает смертельный страх своей жене, теперь грозит убить ее, если она не скажет, где прячет детей. Она же наотрез отказывается это сделать, но сама старается как можно чаще навещать детей, одновременно пытаясь найти жилье и работу. Поскольку она не владеет свободно французским языком, плохо читает и пишет, она обращается к адвокату, чтобы он помог ей развестись с мужем.

Судья по делам несовершеннолетних отбывает на каникулы, ее заместительница не хочет брать на себя ответственность за забывчивость судьи и не подписывает ордер на временное помещение детей в ясли. В итоге никто так и не решается сказать отцу, где находятся его дети, так как помещение их в ясли не было закреплено законным путем, и он имел полное право забрать их оттуда, если бы пожелал.

Месяц спустя отец встречается жену на улице, набрасывается на нее с ножом и наносит ей несколько ран, в результате которых она умирает. Когда его арестовывают, он не оказывает полиции никакого сопротивления.

В тот же день воспитательницы принята сообщают детям о том, что их мать умерла, а отец арестован. Оказавшись в тюрьме, отец тут же объявляет голодовку, чтобы добиться свидания с детьми. Сотрудница Службы социальной помощи убеждает его прекратить голодовку. Его первая встреча с детьми состоится четыре месяца спустя после убийства их матери, прямо в суде. Отец говорит сыновьям, что это он убил их мать и за это сидит в тюрьме, хотя они узнали об этом, как только это произошло, да и отца они видят в окружении полицейских, так что сами могут обо всем догадаться...

Материнская родня, которая отказалась приютить несчастную женщину с детьми, поначалу изъявила готовность позаботиться о детях (из чувства вины? или мести?) но после беседы с судьей по делам несовершеннолетних отказалась от своего намерения. По решению судьи, право на ежемесячные свидания с детьми получили и отец, и материнская родня (однако, она ни разу не воспользовалась этим правом). Отец хотел поручить воспитание своих детей брату, но тот не имел права покидать место жительства, так как обвинялся в убийстве, совершенном на семейной почве.

Луи (два с половиной года), который поначалу казался воспитательницам очень спокойным ребенком, узнав о смерти матери, принялся с ножом в руках угрожать своей нянечке.

После полуторагодового пребывания в яслях Луи и Шарль, с согласия отца, были помещены в приемную семью. Когда ко мне впервые обращаются по поводу этих мальчиков, они уже год живут в этой семье. Одному из них уже пять лет, а второму — четыре. Приемные родители встречались с отцом Луи и Шарля и, проникнувшись к нему участием, сказали детям, что он «сделал это не нарочно». Суд присяжных приговорил отца к десяти годам тюремного заключения, без лишения родительских прав.

В Службе социальной помощи детям работают и защищают интересы детей женщины (судья по делам

несовершеннолетних — тоже женщина), и отец Луи и Шарля постоянно терроризирует их своими угрозами и запугивает во время свиданий с детьми. Их очень тревожит, что же будет, когда отец выйдет на свободу. Срок его освобождения не кажется им таким уж отдаленным, и они боятся за свою жизнь и жизнь своих близких. Так что настроение у воспитательниц довольно подавленное, и они в моем присутствии долго спорят, будет ли отец их подопечных лишен все-таки родительских прав или нет.

Однако право отца на ежемесячное свидание с сыновьями соблюдается: детей на эти встречи в тюрьму сопровождает воспитательница. Если в день свидания на месте нет судьи или воспитательницы, свидание может быть отменено.

Живя в приемной семье, Луи хорошо развивается: он научился свободно разговаривать, но больше слушает, чем говорит. Физически он тоже окреп и перестал болеть. Он ходит в школу и довольно успешно осваивается в школьной обстановке, хотя побаивается смотреть на детей и взрослых и плохо ориентируется во времени и пространстве. Внешне Луи похож на мать (а младший брат — на отца), и как мы помним, отец избивал Луи, что возможно, и повлекло за собой некоторые отклонения.

Во время самого первого разговора мне показалось, что в нем в первую очередь нуждаются взрослые! Драма, которая произошла в семье Луи и Шарля, затронула и социальные службы — им тоже пришлось иметь дело с полицией и правосудием. И люди, которые продолжают общаться и работать с этими детьми, постоянно испытывают чувство вины и ответственность за их прошлое и будущее.

Мы договариваемся, что мальчики будут проходить курс лечения у разных психоаналитиков. Мне достается пятилетний Луи (которому в момент смерти матери было два с половиной года).

На первый сеанс Луи приводит воспитательница и в присутствии мальчика рассказывает мне его историю, в которую меня уже предварительно посвятила. На сей раз она излагает ее, используя довольно примитивные, но вполне точные выражения, понятные и ребенку. Кроме того, ей хочется смягчить факты и одновременно скрыть ощущение личной вины. Она искренне верит, что убийства можно было избежать, если бы обеспечили правовую сторону, когда брали детей под защиту, и вовремя проинформировали бы отца. Она добавляет, что мать этих детей похоронена в родных местах, а ее фотографию нечаянно порвали после того, как сломалась рамочка. Заменить эту фотографию оказалось невозможно, потому что родственники матери не хотят даже показать семейный альбом. Что касается отца, он не возражает, чтобы его сыновья посещали сеансы психоанализа.

Пока воспитательница говорит, Луи несколько раз втыкает нож для масла в кусок пластилина, прилепленный к крышке маленькой машинки «скорой помощи». Мне кажется, он воспроизводит сцену убийства, исполняя роль убийцы, но вслух при этом ничего не говорит.

Луи соглашается остаться со мной наедине, без воспитательницы. Я объясняю ему свои правила и профессиональные секреты: он может приходить ко мне, чтобы рассказывать о своих проблемах. Слушая меня, он лепит человечка, который не может стоять на ногах. Луи не дает ему никакого имени. Но он с серьезным видом соглашается приходить ко мне и впредь. Я вынуждена прервать этот разговор, который длится уже более часа.

Следующий сеанс будет коротким. Первый сюрприз: Луи приносит мне камушек, хотя я не помню, чтобы говорила с ним о символической плате за консультации! Не понимая, как это могло прийти ему в голову, я кладу камушек в ящик стола. Позже я узнаю, что психоаналитик его младшего брата попросил приносить такой камушек как «символическую плату» за сеансы, а братья, вероятно, обменялись впечатлениями. И Луи будет всегда приносить свой камушек, хотя мы с ним об этом не договаривались.

Следуя примеру Франсуазы Дольго, я часто прошу детей (необязательно во время первого сеанса) приносить мне камушек, монетку в пять сантимов или использованную марку в качестве «символической платы», давая тем самым понять, что ребенок по доброй воле приходит и оплачивает свой курс лечения, независимо от родителей или их представителей, которые платят за это деньги. Многие аналитики пытались практиковать подобную «символическую плату», но сочли ее бесполезной и отказались от нее.

Лично мне вопрос о «символической плате» представляется очень сложным. Ее нельзя рассматривать как простую «хитрость», позволяющую аналитику выяснить, вовлекается по-настоящему ребенок в курс лечения или нет. Для ребенка, особенно для детей из яслей, эта «символическая плата» обретает чрезвычайную важность: она означает, что ребенка воспринимают как субъекта, самостоятельно отвечающего за себя.

При этом невозможно аннулировать сеанс, если ребенок «забыл» свой камушек, но можно постараться вместе с ним понять, почему он его забыл.

Представьте себе ситуацию: ребенок сознательно забывает свою «плату», сеанс отменяется и ребенок счастлив. Он

ясно дает понять, что не хочет, чтобы сеанс состоялся, стало быть, к его желанию должны отнестись с уважением (а не наказывать его!), потому что в данном случае речь идет о его собственном отношении к своим желаниям. Но при этом наверняка рискуешь быть неправильно понятым человеком, который сопровождает ребенка на сеансы. Представьте себе его недоумение, когда он видит, что через пять минут после начала сеанса ребенок почему-то выходит из кабинета. Естественно, он сам идет в кабинет, чтобы добиться продолжения сеанса.

Иногда ребенок даже не знает, может ли он хотеть что-либо для себя. Работа аналитика в этом случае заключается в том, чтобы помочь ему понять, что он живет на свете не только для того, чтобы удовлетворять прихоти своих родителей. А бывает, ребенок одновременно и хочет и не хочет посещать сеансы.

Введение «символической платы» требует ее строгого соблюдения, чтобы ребенок отчетливо понимал ее назначение. При этом ему нельзя позволять отходить от введенного правила (например, вместо камушка принести подарок или несколько камушков; соглашаться на то, что он принесет свою «плату» в следующий раз и т. д.).

Подобная «символическая плата» может играть воспитательную роль, если использовать ее как повод, чтобы объяснить ребенку этический принцип психоанализа и метод психоаналитика: например, если ребенок начинает чувствовать себя независимым от своих родителей, ему может захотеться, чтобы психоаналитик «заменял» ему одного из родителей. В этом случае врач не должен делать того, что хочет от него ребенок (то есть «не становиться» его родителем, потому что он все равно не может его заменить), и одновременно нужно потребовать от ребенка «платы», которая позволит ему не подчиняться полностью психоаналитику.

Другой пример, у ребенка плохой трансфер — он приходит, чтобы сказать: «Я хочу тебя убить» или «Мне не нравится приходить сюда». Если у него возникает потребность сказать такое, он может себе это позволить: ведь он платит за то, чтобы его слушали сеанс за сеансом.

Вручив мне свой камушек, Луи разминает пальцами кусочки пластилина и что-то лепит из него. Сегодня он первым делом просит меня написать его имя — это очень занимает его: во время предыдущего сеанса он вылепил человечка, которого никак не назвал. Ведь когда ребенок появляется на свет, никто иной как родители дают ему имя — оно означает не тело, а существование субъекта. Мне кажется, что попросив меня *написать его* имя, Луи — уже в самом начале курса — ясно дает мне понять, что он — субъект: безымянное тело, вылепленное им во время первого сеанса, подчиняется теперь слову. После этого он говорит:

«Я не иду сегодня в «Магдо» (когда он ходит в тюрьму на свидание с отцом, он идет после этого обедать в «Макдоналд»). Его воспитательница в отпуске, поэтому он не может пойти ни в тюрьму, ни в «Макдоналд». Он просит написать ему день и час его следующего свидания на маленьком листке бумажки. Он не знает ни дней недели, ни месяцев. Он не умеет определять время. Из этого можно понять, что его мать с большим трудом ориентировалась в жизни. Потом Луи говорит, что хочет уйти.

— Ты больше ничего не хочешь мне сказать перед уходом? — спрашиваю я Луи.

— Об отце мы уже говорили, — отвечает он.

— Об отце, который в тюрьме?

— Да. Можно выйти?

— Тебе можно, а ему пока нет. Мы поговорим об этом, когда ты сам захочешь.

Я вспоминаю, что об отце Луи действительно говорили, но не с мальчиком. Об отце Луи мне рассказывали взрослые, но в его присутствии. А с самим Луи мы никогда об отце не говорили. Но вместо того, чтобы напомнить ему об этом, я довольно неуклюже пытаюсь объяснить разницу между мальчиком и его отцом: отец — в тюрьме, а он — нет. И он может пользоваться своей свободой: захочет — придет ко мне, чтобы поговорить об отце, а захочет — не придет.

Сеансы длились целый год и невозможно воспроизвести их полностью — день за днем. Но мне кажется полезным привести несколько ключевых моментов, характерных для этого курса. Работая с Луи на протяжении года, я не перечитывала записи, сделанные во время предыдущих сеансов. Но позже, когда я перечитала их все подряд, мне показалось, что эти записи отражают огромную работу, которую способен выполнить ребенок. Из них также видно, как нелегко обеспечивать такому ребенку постоянное понимание, чтобы помочь ему стать субъектом.

Апрель. Луи спрашивает меня, как зовут маленькую девочку, которая только что вышла из моего кабинета. Я отказываюсь назвать ее имя и объясняю, что это — профессиональный секрет. Я храню в секрете имена всех детей, с которыми работаю, а не только имя Луи. Во время этого сеанса он проделывает ножницами дырку в

резиновой соске для бутылочки (на столе перед ним лежат разные предметы, с помощью которых он может что-то мастерить) и, не обращая ко мне, а словно во сне, спрашивает: «Наркотик — это для чего? Папа ел наркотик, когда я был маленьким».

Июнь. Луи играет с маленькими машинками, одна из них — полицейская машина, а вторая — «скорая помощь». Полицейская машина наезжает на «скорую помощь», и та переворачивается. Я говорю: «Полиция арестовала твоего папу, а «скорая помощь» увезла маму.

— Нет, ее закопали в землю.

— Это по вине твоего папы произошло несчастье, которое убило маму. «Скорая помощь» повезла ее в больницу, но она была уже мертвой. Твой отец сделал то, что запрещено законом. За это он и сидит в тюрьме.

Начало сентября. «Откуда все выходят?» — спрашивает меня Луи. Сначала я спрашиваю, что он сам знает об этом. Потом объясняю, что дети выходят из живота своей матери, а люди, сидящие в тюрьме, выходят из нее, когда отбывают наказание. В ответ он говорит: «Мой отец скоро выйдет». Позже, во время этого же сеанса, он берет кусочек пластилина, засовывает его в машину «скорой помощи» и говорит:

«Это моя мать лежит там».

Конец сентября. В начале сеанса Луи просит меня написать два слова на маленьком листке: *пароход и самолет*. В конце сеанса он берет конверт, кладет туда бумажку с этими словами и спрашивает, может ли он унести это с собой. Поскольку он не делал это своими руками, я разрешаю. И объясняю правило: если он сам что-то рисует, его рисунки должны оставаться в его досье. Это помогает изучить результаты работы, которую проделывает ребенок во время психоанализа. Ведь главное, для чего он сюда приходит — это не для того, чтобы что-то мастерить, а для того, чтобы говорить и быть выслушанным. Рисунки отражают на бумаге результаты общения ребенка с аналитиком. Поэтому рисунки остаются у нас, в досье, куда записываются и слова, которыми мы обмениваемся с ребенком.

В этот день он приносит с собой часы, подарок отца, которым он очень гордится. Это уже предмет совсем иного свойства, чем детские рисунки: это отцовский подарок и полезный в обиходе предмет.

Октябрь. «В прошлую среду я видел отца и обедал в китайском ресторане. Сейчас нарисую дорожный знак для учительницы», — говорит Луи. Он рисует круг, означающий, по его словам: «Не курить!». Он рвет его: «Это мужчины курят. Раньше мой отец курил, а теперь не курит».

Он еще дважды пытается нарисовать этот знак, который у него никак не получается: «Отец выходит из тюрьмы и заберет меня на каникулы». (Если бы можно было, порвав запрет, тем самым его отменить, тогда его отец, который преступил запрет, не сидел бы в тюрьме и увез бы его на каникулы. Вот о чем мечтает Луи!).

В конце сеанса мальчик кладет в конверт порванный рисунок, который собирался выбросить, и хочет унести его с собой. Я напоминаю ему правило (все его рисунки должны оставаться у меня в досье). Даже разорванный рисунок составляет неотъемлемую часть сеанса. Поэтому я не могу разрешить унести этот рисунок, даже если он намеревается выбросить его.

Ноябрь. Луи рисует уличный знак «Обгон запрещен» и спрашивает меня: «А ты ходила в ясли, когда была маленькая?» (сам он ходит последний год в ясли). Я говорю, что ходила. И мы обсуждаем с ним разницу между его яслями и моими.

Декабрь. Луи рисует женщину. Это Тата (его воспитательница) — он нарисовал ее посередине листка. У нее нет ни рук, ни ног, но над головой — зонтик. В левом нижнем углу он подрисовывает рыбку, а сверху — маленькое солнышко и слева — большое голубое пятно. Я думаю, он хотел изобразить материнскую фигуру (когда сам был совсем маленьким, как рыбка-малек). Эта женщина выглядит довольно беспомощной, без рук и без ног, зато сверху ее защищает зонтик, напоминающий большой уличный или пляжный зонт. Можно вообразить, что она кричит или чем-то напугана. Она смотрит вправо и ее черные волосы развеваются в ту же сторону. Шея у нее очень широкая, а принадлежность к женскому полу подчеркивает трапеция, изображающая платье. Солнце от нее — очень далеко, а голубое пятно — несколько ближе. Рыбка, похожая на горизонтально лежащую восьмерку, как и зонтик, нарисована шариковой ручкой и более тонкими линиями, чем женщина и солнце, нарисованные фломастером. Голова рыбки приподнята, и она тоже смотрит вправо. Но сама рыбка нераскрашена. Как будто на нее не хватило красок или души. Луи не комментирует своего рисунка, я — тоже.

Начало января. Не успев войти, Луи заявляет, что сегодня он унесет с собой рисунок, который сейчас делает. Я напоминаю, что все, что он делает или рисует во время сеанса, должно оставаться в его досье и что я не разрешу

унести и сегодняшний рисунок. Он пробует торговаться: например, он унесет то, что все равно выбрасывается в корзину. Я не соглашаюсь и говорю ему: «Ты ведь лучше, чем хочешь казаться». Он делает вид, что не слышит, и продолжает торговаться. Наконец я говорю: «Твой отец в тюрьме, потому что он нарушил закон. А ты пытаешься сейчас придумать, как нарушить правила, но это невозможно, их нельзя нарушать». Сначала Луи приходит в ярость, затем грустнеет и закрывает голову руками. После этого молча встает и укладывается на пол между двумя стульями. Я молчу. Тогда он садится на полу, повернувшись ко мне спиной. Мы долго молчим, он и я. Затем я прерываю сеанс. Он спокойно выходит из кабинета, но в зале ожидания падает наземь и начинает громко плакать и кричать. Пять минут я слушаю его вопли, а затем выхожу и говорю: «Ты достаточно сильный для того, чтобы выдержать, если тебя заставляют уважать правила». Он мгновенно смолкает, встает на ноги и уходит с недовольным видом.

Итак, несколько сеансов подряд мы обсуждаем с ним вопрос о запретах, которым подчиняются и взрослые и дети. Сначала Луи заговорил со мной о наркотиках применительно к отцу (знал ли он, что его отец еще до совершения убийства был уже правонарушителем?), затем он проверил, храню ли я профессиональную тайну, даже если он просит меня ее нарушить. Потом он перешел на запретительные знаки. Сначала был знак, запрещающий курить (отец раньше курил, а теперь не курит). Позже — знак, запрещающий обгон. После чего он уже открыто попытался нарушить запрет и унести с собой свои рисунки. Он взрывается, когда я добиваюсь от него уважения к существующим правилам. И, как мне кажется, испытывает некоторое облегчение, когда я говорю, что у него хватит сил, чтобы это выдержать. То есть правила для всех одни и те же и соблюдать эти правила — это вовсе не значит уничтожить свою личность. Напротив, уважать существующие правила — значит проявить силу, а не слабость.

В то время я не придавала значения тому, что подбираясь постепенно к вопросу о запретах, Луи унес с собой какие-то мелочи (бумажки, на которых я по его просьбе написала несколько слов). Аналитик, который работал с его братом, не делал подобных поблажек и строго придерживался правила: все, что делается во время сеанса, остается в досье ребенка. Братья проходили курс лечения у разных аналитиков, но в одном и том же Центре и в одно и то же время и после каждого сеанса встречались в зале ожидания.

Но одному что-то позволяли выносить, а другому — нет. Когда я запретила Луи унести свой рисунок, я уравнила его с братом, а это ему не понравилось, испортило настроение, потому что ему хотелось хоть чем-то отличаться от брата. Ведь и отец обращался с ними по-разному: он бил только старшего сына.

Следующего сеанса я ожидала с некоторой тревогой: выдержит ли Луи это испытание? Он пришел в прекрасном настроении, полный энергии, сияющий от удовольствия и сразу же похвастался новой обувью. В этот раз он нарисовал «волшебницу, похожую на маму» (возможно, это была я во время предыдущего сеанса). Волшебница была без рук, но с ногами, что позволяло ей шагать вправо. У нее была маленькая красная головка, а глаза, брови и рот — черные. На голове у нее было нечто вроде поварского колпака, а мощная шея начиналась прямо от ушей. На сей раз Луи даже не пытается выпросить разрешение унести свой рисунок. Уходя, он говорит: «Во вторник я увижу папу».

Конец января. Сегодня Луи играет в полицейского. Он рисует звезду шерифа (два перевернутых треугольника) и говорит, что ему нужно оружие. Ему никак не удается нарисовать пистолет, и он просит меня помочь ему. Но когда он пытается его вырезать, у него снова не получается. И он сам рисует еще один пистолет.

— Ты знаешь полицейских? — спрашиваю я.

— В среду я пойду к отцу и увижу полицейских. Луи говорит, что хотел бы отнести отцу то, что он рисует, хотя явно предвидит мой отказ, который мне приходится повторить. Он просит дать ему конверт и кладет в него нарисованный им пистолет и звезду шерифа. Отдавая мне конверт в конце сеанса, Луи говорит: «Все это я сделал для папы, чтобы он стал полицейским, когда выйдет из тюрьмы». Вспомнив Каина, которому Бог — после того как тот убил Авеля — поручил охранять город, я отвечаю Луи: «Твой папа наверняка мог бы стать очень хорошим полицейским».

Луи признал, как опасны внутренние импульсы, которые превратили его отца в убийцу. И мальчик стремится найти позитивный выход из этой ситуации: вместо того, чтобы подчиниться своим внутренним импульсам, которые подтолкнули отца к убийству, тот в будущем мог бы бороться с внешними опасностями и защищать от них других людей.

Кто сумел бы более тонко, чем Луи, проанализировать внутренние импульсы, движущие человеком и сложные пути их сублимации? Примечательно, что это сделал ребенок, который сумел одержать победу над собой и оказался способен относиться с уважением к запрету.

Март. «Сегодня я ходил к отцу», — сообщает Луи, играя в рыбака и держа в руках воображаемую удочку.

— Ты вспомнил отца, потому что ловишь рыбу?

— Нет.

— Может быть, когда ты видишь отца, то вспоминаешь мать? — я пытаюсь понять, что означает эта игра в рыбака.

Луи не отвечает и принимается вырезать нарисованную им полицейскую машину, захватывая ножницами и свой рисунок. Он рисует еще одну полицейскую машину и пытается ее аккуратно вырезать, но у него снова не получается.

— Когда разговор заходит об отце, ты думаешь о полиции и полицейской машине?

— Нет.

Я говорю Луи, что по моим наблюдениям, он становится неловким, когда мы говорим с ним об отце. Той порой он изо всех сил старается аккуратно вырезать свою полицейскую машину. У него не получается. Он снова рисует и снова вырезает. Состояние у него все более нервное и напряженное. Последний раз у него уже почти все получилось, но в последнюю минуту он срезает вращающийся фонарь на крыше машины и вся работа идет насмарку. Луи очень огорчен, в глазах слезы и пот течет градом, он с головой погружен в свое занятие. Он рисует еще большую по размеру машину, и ему удается вырезать ее совершенно правильно, включая фонарь на крыше. Он опять рисует машину, на этот раз еще большую, чем нарисовал только что, и снова аккуратно ее вырезает. Глаза у него наполнены слезами. Я говорю:

— Мне кажется, я понимаю, почему ты так стараешься. Тебя хочется, чтобы твоего отца воспринимали, как достойного человека, независимо оттого, как он повел себя в отношении тебя и общества.

Луи отсекает колеса у последней машины, которую он вырезает. После этого он встает и уходит вконец расстроенный.

У меня сохранилось чрезвычайно тягостное воспоминание об этом сеансе. Я видела, как у Луи все падало из рук после каждого визита в тюрьму, словно все его мечты о возвращении отца к нормальной жизни разбивались, когда он видел отца в реальности. Не стоило также забывать и о приближении возраста, когда возникает проблема «Эдипова комплекса»: можно связать все время увеличивающуюся в размерах машину, его собственный стремительный рост и трудности с вырезанием этой машины, которая теряет то вращающийся фонарь, то колеса. И я попыталась объяснить Луи то, что мне хотелось до него донести: общество признало его отца виновным за то, что он убил мать Луи, но даже преступив закон, его отец остался достойным человеком благодаря тому, что он дал жизнь Луи. Мне было трудно находиться рядом с этим страдающим ребенком, чье горе я не могла и не должна была облегчать, потому что он приходил ко мне специально для того, чтобы символизировать, обозначать словами свою боль.

Начало апреля. Луи сопровождает теперь на сеансы новый воспитатель, который заменил свою уволившуюся предшественницу. Отец относится к нему как к мужчине более уважительно и менее агрессивно, чем к той. Приемная мать Луи наотрез отказывается от общения с его отцом, потому что боится за себя. Поначалу она прислушивалась к нему, поверив, что он совершил преступление не намеренно и что он раскаивается в содеянном. Убедившись, что на самом деле этот человек не испытывает ни малейшего сожаления, и услышав от него угрозы в собственный адрес, она очень испугалась и решила, что он смертельно ненавидит всех женщин.

Что касается Луи, то по телефону мне сообщили, что в школе он рэкетирует младших и всем хвастается, что его папа в тюрьме, и его поведение создает определенные проблемы для учительницы.

Сегодня Луи рисует безногого пожарника (еще одна профессия, которая помогает сублимировать разрушительные импульсы), но зато он наделяет его машиной для инвалидов и огромным пупком. Я спрашиваю, что это такое. Показывая на пупок, Луи отвечает: «Бидон».

Я рассказываю ему, что пупок — это шрам от перерезанной пуповины, которая соединяла его с матерью. Тогда он спрашивает: «А как узнают, что это мальчик?»

Я объясняю. Во время этого сеанса он узнал кое-что новое для себя и, прощаясь со мной, полувопросительно говорит: «Если другие что-то знают, это можно взять», таким образом интерпретируя, видимо, свою склонность к рэкету. Я объясняю, что можно действительно учиться, заимствуя или «воруя» знания у преподавателей, но мне сообщили, что в школе он обворовывает младших, а это запрещено. Но, как я понимаю, единственное, чего он хочет — это набраться знаний.

После этого мне уже никто не жаловался на Луи, что он ворует в школе.

А вот то, что он с гордостью рассказывал всем, что его папа сидит в тюрьме, у многих вызывало беспокойство: дети с искренним восторгом рассказывали своим родителям, какой потрясающий папа у Луи, а те почему-то совсем не разделяли эти восторги. С другой стороны, было совершенно естественно, что шестилетний мальчик гордится своим отцом, тем более, что я постаралась ему внушить, что ему нечего краснеть за свое происхождение. Сам он не сообщал мне, что происходит в школе, об этом мне рассказывали взрослые и в его отсутствие. Я не стала говорить с Луи на эту тему. Но его воспитатель по собственной инициативе объяснил ему, какой эффект производят его рассказы об отце на других (в первую очередь взрослых) — так что пусть Луи сам решает, стоит ли ему хвастаться тем, что его папа в тюрьме, или нет.

Конец апреля. Последний раз свидание Луи с отцом не состоялось, потому что того перевели в центральную тюрьму, но не предупредили ни воспитателя, ни детей. Перед сеансом мне сообщил об этом по телефону воспитатель. Он сказал также, что, как ему показалось, Луи испытал облегчение. По мнению воспитателя, встречи детей с отцом проходят плохо. Отец не знает, о чем говорить и чем заняться со своими шумными детьми, которые ссорятся между собой. В итоге отец разговаривает только с воспитателем и с трудом переносит шумное присутствие сыновей.

Сегодня Луи сразу же объявляет: «Ходил к отцу, а его не было». И добавляет: «Знаешь, я не знаю, как писать *mana**. Я пишу для него это слово и он начинает перерисовывать: «па», бросает на полдороге и рисует под буквами рыбку, а затем дорисовывает недостающие буквы: «па». Я спрашиваю: «Что ты написал?» Он отвечает: «Луи, нет! Папа!» Я продолжаю: «Ты уже сам не знаешь, то ли ты — папа, то ли папа — это папа?» Он отвечает «да» и весело хохочет. Он берется вырезать картинку, которую начал вырезать еще до сеанса, в приемной. Это маска черепахи Ниньи. И вырезает сегодня очень ловко. Он сам это замечает и говорит:

«Как быстро вырезал!» И добавляет: «Нельзя унести с собой?» Тон у него при этом не столько вопросительный, сколько утвердительный. Я — в который раз — напоминаю ему существующее правило. Тут он говорит: «Я кое-что забыл», — и стрелой мчится в приемную. Оттуда он прибегает уже с камушком.

Этот сеанс нужно рассматривать в связи с последним свиданием, которое не состоялось в тюрьме:

отца неожиданно не оказалось на месте. И Луи хочет научиться писать слово «папа». Зачем это ему нужно? Возможно, он пытается символизировать таким образом физическое отсутствие отца или отцовскую функцию. Возможно, он представляет себе сцену своего зачатия, превращающую мужчину в отца, а себя рисует в виде рыбки-зародыша между двумя слогами слова «папа». Если только он не вообразил себя отцом своего отца — вспомните, как он рассмеялся, когда я высказала ему свое предположение.

Во время первого сеанса Луи попросил меня написать свое имя, но тогда не стал учиться его писать. Позже он научился писать его в школе. Но теперь он просит меня научить его писать слово «папа»: чтобы сотворить отца, ему нужна женщина...

Луи сам удивился, как ловко он вырезал маску животного (хотя и очень человеческой черепахи Ниньи) — он ведь помнил, как трудно было ему вырезать полицейские машины. Он почти свыкся с правилом, не позволяющим ему уносить свои рисунки домой, и он довольствуется лишь тем, что мягко проверяет, уважаю ли я сама это правило. Какая разница с его прежним поведением, когда он приходил и объявлял, что заберет свой рисунок с собой! Когда во время последнего сеанса я напоминаю ему о своем правиле, он тут же вспоминает другое правило — символическую плату за лечение. Он сам ввел это правило и с самого начала неукоснительно его соблюдает: принося свой камушек, он дает понять, что только он и никто другой хочет проходить этот курс лечения.

На моих глазах безмянный и не способный держаться на ногах человек превращается в мальчика, который в процессе анализа и переноса сможет воспроизвести (актуализировать) сцену убийства и смерти матери, с которой он, вероятно, навсегда распрощался. Но Луи все равно тоскует по матери и сердится на нее за то, что ее не стало: он рисует мать уже мертвой (в машине «скорой помощи», в земле) или в образе волшебницы. Он соглашается с тем, чтобы приемная мать заменила родную мать, и не скрывает, что нуждается в ее любви, но при этом очень досаждают ей своими выходками.

Узнав историю собственной жизни и происхождения, осознав принадлежность к мужскому полу (все эти знания он считает своим «приобретением»), Луи горит желанием расширить багаж школьных и культурных познаний.

Несмотря на внешне холодные отношения с отцом, он любит его и ищет всевозможные решения, чтобы снова обрести отца. Он способен символизировать его отсутствие и выдержать испытание на уважительное отношение к запрету. И если в начале он всячески пытается отрицать и нарушать установленное правило, то есть закон, то

затем находит удовольствие в том, что как самостоятельный субъект устанавливает обязательную символическую плату за сеансы и добросовестно соблюдает ее.

Сегодня никто не может сказать, что станет с этим мальчиком завтра. Но благодаря любви к отцу и не отрицая при этом смертельной опасности, которую таят в себе свойственные отцу разрушительные импульсы, Луи в свои шесть лет проделал огромный путь. Он смог осознать, что свои собственные импульсы не будет реализовывать, отрицая и преступая запреты. Он понял, что выразить себя можно и по-другому. Этот мальчик самостоятельно строит отношения с обществом, сам артикулирует свое прошлое и будущее.

Знает ли отец Луи, что люди не вправе творить свои собственные законы, а обязаны подчиняться установленным законам? Что каждый человек — это слуга Закона? Боюсь, что нет. Совершив преступление и отбывая наказание, к которому приговорило его общество, он по-прежнему твердит, что сделал это «ради детей». Преступив запрет, он до сих пор так ничего и не понял.

Не трудно заметить, что дети, о которых я рассказывала, с точки зрения психики, не имеют между собой ничего общего. Их сближает только реальная ситуация: кто-то из их родителей совершил преступление, и детям это несет разлуку с близкими и оплакивание утраты. Сама по себе эта ситуация не провоцирует и не объясняет психической структуры детей, даже если и вызывает у них некоторые нарушения. Ведь ко мне на консультацию направляют не всех детей, которые попадают в ясли и пережили очень тяжелую ситуацию. Ко мне посылают только тех детей, у которых замечены нарушения, свидетельствующие о том, как мучительно переживает ребенок свалившиеся на него события. Чаще всего представители Службы социальной помощи детям сами справляются со своей задачей и, по возможности, точно сообщают ребенку о том, что произошло в его семье, после чего обеспечивают ему наилучший уход и опеку.

Чем же отличается их информация от той, что я формулирую во время своих сеансов? Я анализирую факты только по мере того, как ребенок заново переживает их, общаясь со мной. Я делаю это с помощью трансфера (переноса) и тех эмоциональных состояний, которые ребенок испытал до, во время или после драмы. Во время сеанса ребенок сталкивает свой воображаемый мир с реальностью. И обращаясь к теории психоанализа, своему опыту работы с детьми, личному опыту самоанализа, я стараюсь придать смысл выделенным мною знакам. При этом я называю эти знаки и сближаю их с реальными фактами, пережитыми ребенком или известными ему, как если бы каждый из этих фактов являлся составной частью семейного романа.

Анализ переноса необходим при любом возрасте пациента. Но он особенно важен при работе с совсем маленькими детьми. Аналитик может подменять собой одного из родителей только при переносе и только на словах.

В лучшем случае ребенок сможет выдержать правду и, при желании, пережитые им драматические события превратить в воспоминания, чтобы не страдать от этой незаживающей и постоянно напоминающей о себе раны.

ГЛАВА 3. МАТИАС, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КОТЕНКОМ

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал.. Апостол Павел, «Первое послание к Коринфянам»

Не все дети, содержащиеся в яслях, страдают от такого грубого разрыва семейных связей, как дети, о которых я рассказала в предыдущих главах. Но бывает, что сами отношения «родители-ребенок» могут послужить причиной для изоляции ребенка от родителей (не говоря, естественно, об очевидных случаях жестокого обращения с детьми). В подобных случаях неизбежно встает деликатный вопрос: позитивно ли сказывается на ребенке переселение его в ясли?

Известны случаи, когда дети, живущие в семье, вдруг перестают расти, но стоит их переселить в ясли, как они снова начинают расти. Но даже в этих случаях педиатры не признают, что разлучение с родителями оказывает целебное воздействие. Семья практически всегда рассматривается как идеальное место для жизни ребенка.

Декларация ООН со всей определенностью признает семью основной и естественной средой для благополучного развития всех ее членов, включая детей.

Статья № 7 уточняет, что ребенок с момента своего рождения и в дальнейшем имеет право знать своих родителей и быть ими воспитанным.

Однако мы все чаще сталкиваемся с жестоким обращением с детьми, когда ребенку угрожает опасность в его

родной семье. В таких случаях нам ничего не остается, как менять свой взгляд на семью как идеальное место для воспитания ребенка.

Наше общество, чтобы защитить ребенка, позволяет нарушать профессиональную тайну, если это требуется для его защиты. И если кто-то знает о жестоком обращении или опасности, которым подвергается другой человек, но не предпринимает никаких мер, чтобы защитить этого человека, закон признает его виновным. Если становится известен факт жестокого обращения с ребенком, изоляция ребенка от родителей — это одна из возможных, но зачастую необходимых мер, призванных защитить ребенка. Поэтому трудно утверждать, что изоляция ребенка от семьи в любых обстоятельствах сказывается болезненно на ребенке.

Тем не менее некоторые судьи по делам несовершеннолетних, часть психоаналитиков и педопсихиатров продолжают придерживаться мнения, что изоляция от семьи во всех случаях негативно сказывается на ребенке. Такой же точки зрения придерживаются зачастую и люди, работающие в детских учреждениях. Это предопределяет и организационный принцип таких учреждений, которые рассматриваются как *временные* приюты для детей. Ребенок должен помещаться в них лишь на короткий срок, после чего его возвращают либо в родную семью, либо находят для него приемную, которая по своей структуре более похожа на «настоящую семью», чем приют или ясли. И надо сказать, такие приемные семьи обходятся государству дешевле, чем учреждения. Однако на деле дети остаются в таких учреждениях гораздо дольше, чем хотелось бы их руководителям, да и хорошие приемные семьи найти почти невозможно, особенно в Париже и его пригородах.

Есть немало учреждений, где имеются все возможности, чтобы не разлучать мать с ребенком, особенно грудным ребенком, отчего выиграли бы и мать и ребенок. Но как это ни парадоксально, в большинстве детских больниц и некоторых роддомах легко «забывают» о том, что разлучение матери и ребенка может вызвать травму. У нас слишком мало детских учреждений, где родителям позволяют оставаться с детьми. Чаще всего даже в роддомах новорожденного разлучают с матерью не только на ночь, но и на день, и мать общается с ребенком лишь в часы кормления. А ведь если вдуматься, подобное разлучение матери с ребенком можно было бы расценить как неоказание помощи личности, находящейся в опасности, если знать о тех драматических последствиях, которые влечет иногда такое совершенно неоправданное разлучение.

Благодаря аналитической работе, которую проделали администрация и персонал яслей Антони, там выработали такую позицию: ясли не являются наилучшим местом для жизни ребенка и должны служить ему лишь временным убежищем. Общество должно заботиться о ребенке, и его обязанности не ограничиваются предоставлением ему приюта и удовлетворением его материальных потребностей. Но и у ребенка есть свой долг по отношению к обществу — противостоять всему, что может повлечь за собой его преждевременную физическую и психическую смерть. Если взрослое окружение ребенка неблагоприятно влияет на здоровье и развитие ребенка, очевидно, что в этом случае должны быть приняты меры, необходимые для защиты ребенка. И не нужно избегать возможности хотя бы временно поместить ребенка в условия, которые окажут на него благотворное и даже терапевтическое воздействие и где к ребенку относятся как к заслуживающему уважения субъекту.

Если физическое разлучение ребенка с родителями хорошо подготовлено, объяснено (исходя из контекста) и при этом их контакты сохраняются, то вовсе необязательно рассматривать этот акт как драму. Напротив, он может дать возможность понять, выразить словами и изменить запутанную и опасную для ребенка ситуацию, когда сам он еще не в состоянии защитить себя.

Первый сеанс

Матиас не подвергался жестокому обращению, которое могло бы привлечь к нему внимание компетентных организаций. И не шаткое социальное положение родителей послужило причиной для помещения его в ясли. Причина была гораздо более тонкой и незаметной для постороннего глаза, однако, было принято решение изолировать Матиаса от родителей. Историю этого ребенка, в его присутствии, мне рассказала работница яслей.

Годовалого Матиаса поместили в ясли после того, как он два месяца пролежал в больнице с бронхиолитом. До этого он жил с родителями, в довольно трудных материальных условиях. В Центре защиты матери и ребенка, куда возили Матиаса на консультацию еще до его заболевания бронхиолитом, пришли к выводу, что в семье ребенка нарушаются элементарные правила гигиены. По утверждению матери, проблемы с дыханием начались у Матиаса несколько месяцев назад, когда Служба помощи родителям помогла им поселиться в квартире, где они сейчас уже не живут.

Матиас — третий ребенок в семье, где всего три сына. Все дети появились на свет с помощью кесарева сечения, но при разных обстоятельствах. Старшего ждали «трое родителей» (отец, мать и бабушка с материнской стороны). Второго ребенка хотела уже только одна мать. Когда ждали Матиаса, отец и бабушка настаивали на аборте. Мать решила все-таки сохранить ребенка и родить его себе в подарок, что не мешало ей во время беременности часто

думать о смерти. Отец, скрыв это от жены, попросил врачей перевязать ей трубы, что и было сделано во время родов, которые проходили под общим наркозом.

В настоящее время старший сын живет в специальном интернате. Родители говорят о нем: «Это настоящее животное» (позже я узнаю, что в этой семье это звучит как комплимент). У среднего, шестилетнего сына, большие трудности с речью и усвояемостью, но он живет с родителями.

У матери есть брат, у отца — много братьев и сестер. Бабушка со стороны матери занимает очень важное место в жизни этой семьи. Она единственная, кто в ней работает, иногда дает возможность подработать отцу. И она предоставляла дочери временное пристанище в своем частном домике. Однако их выставили оттуда из-за непригодности этого жилья, уже предназначенного на снос, но главной причиной были жалобы соседей, недовольных тем, что в доме жило много животных. После этого их переселили в квартиру, где Матиас и начал болеть. На время переезда все животные были пристроены, а затем поселились и в новой квартире. Отец уже несколько месяцев безработный. Мать тоже нигде не работает.

Мать сурово обходится со средним сыном и более отстраненно — с Матиасом. Родители очень часто навещают его в яслях. Во время его госпитализации социальные службы, с согласия родителей и не прибегая к юридическим формальностям, решили поместить мальчика в ясли на минимальный трехмесячный срок, чтобы он окреп и полностью избавился от легочного заболевания.

В день первой консультации Матиасу год и пять месяцев и в яслях он находится уже пять месяцев. Несмотря на лечение и уход, Матиас постоянно страдает нарушениями в дыхательной системе, которые в будущем могут привести к серьезным заболеваниям. Поскольку медикам никак не удается его вылечить, персонал яслей, с согласия родителей, решил обратиться ко мне.

Я смотрю на Матиаса. Это очень приятный внешне ребенок. И я не замечаю никаких отклонений, которые могли бы каким-то образом быть связаны с его постоянными легочными заболеваниями (я думаю, конечно, о муковисцидозе, который передается по наследству, но необходимые анализы наверняка уже сделаны). Для его возраста у него нормальный рост и вес, его можно даже назвать упитанным. Прежде всего Матиас направляется к единственному мужчине, присутствующему на моей консультации, а затем молча садится. Вид у него довольно невеселый. Он не двигается, не играет, а внимательно слушает взрослых, которые говорят о нем, и его живой взгляд контрастирует с полной неподвижностью. Невозможно не обратить внимание на то, как шумно он вдыхает и выдыхает воздух. Шум, производимый им при дыхании, кажется мне странным и одновременно знакомым. Слушая то, что мне рассказывают, я не смотрю на Матиаса, но прислушиваюсь к его шумному дыханию. И вдруг я понимаю, что он *мурлычет*.

После того, как мы более часа говорили о Матиасе, я, наконец, обращаюсь прямо к нему и говорю, что, как я поняла, его мать любит маленьких зверят больше, чем маленьких детей. Его шумное дыхание напоминает мне мурлыканье котят, которых очень любит его мама-кошка.

— Может быть, ты думаешь, что если бы ты был котенком, твоя мама любила бы тебя больше? Но ты родился человеческим детенышем и не сможешь стать котенком, даже если научишься мурлыкать, — говорю я Матиасу.

Второй сеанс

Случилось так, что по разным причинам второй сеанс состоялся лишь пять месяцев спустя после первого. А все последующие сеансы будут проходить с очередностью раз в две недели.

Сегодня на моей консультации помимо меня присутствуют еще четыре психоаналитика. Матиаса, которому уже год и десять месяцев, приводят ясельная нянечка и сотрудница социальной службы. Он отказывается входить и самостоятельно спускается по лестнице в зал ожидания. Разговаривая с сопровождающими его дамами, я оставляю дверь открытой, чтобы он мог вернуться.

Нянечка рассказывает, что Матиас часто падает и бьется головой об пол, изо рта у него выделяется обильная пена, легочные заболевания не прекращаются, он часто капризничает, когда ему дают рожок с питанием. А в остальном он развивается вполне нормально.

Родители навещают его каждый день, но, по наблюдениям ясельных нянечек, отношения с ребенком складываются у них нелегко: мать то прижимает его, то отталкивает; отец играет с сыном, но быстро раздражается и начинает его шлепать. Известно, что соседи этой семьи жалуются, что у них живут пять кошек, две собаки и черепаха, так что им опять угрожает выселение из квартиры.

Во время нашего разговора Матиас лежит внизу под лестницей. Я иду к нему и предлагаю ему подняться. Он

отказывается. Тогда я посылаю нянечку. Она приносит его на руках, и он не вырывается. Может быть, он хотел, чтобы его принесли? Как только нянечка ставит его на ноги, он укладывается на пол, а голову кладет между туфлями нянечки. Рукой он трогает ботинки психоаналитика, к которому направился во время первого сеанса (пять месяцев назад), после чего начинает тихо плакать и мурлыкать.

Я говорю ему: «Ты Матиас К. и ты не маленький зверек, из тех что так любит твоя мать. Ты — человеческий детеныш». При слове *человеческий*, на котором делаю я ударение, он совершенно отчетливо произносит: «ДА». И продолжает плакать. И вот он плачет, а я говорю: «Я понимаю, что ты очень сильно страдал. Тебе так хотелось стать маленьким зверьком, чтобы тебя больше любили». Матиас продолжает плакать, и я спрашиваю его: может быть, он хочет, чтобы нянечка утешила его? И тут, ко всеобщему удивлению, он очень твердо и спокойно говорит: «НЕТ». И продолжает тихо плакать, оставаясь на полу.

Я говорю Матиасу о его боли, но и о его силе. О том, что ему можно помочь, а он отказывается от помощи. Возможно, он старался стать котенком, чтобы утешить опечаленную маму, когда ей на время пришлось расстаться со своими животными? Ему не удалось ее утешить, а его собственную боль никто не смог понять.

Сеанс заканчивается. Нянечка берет его на руки, чтобы унести. Он не сопротивляется, тут же прекращает плакать и улыбается всем присутствующим: он весь преобразился.

Этот сеанс поразил всех присутствующих, а я от него ужасно устала! Всех потрясло, как этот ребенок вдруг мгновенно вспомнил средства выражения, которые он должен был усвоить в пяти-шести месячном возрасте — это говорит о том, что в то время в его истории произошел какой-то разрыв, никак не выраженный словами. Его поведение во время сеанса не имело ничего общего с обычным поведением в яслях, когда он, по словам нянечки, «ребячится» или «капризничает». Грудной Матиас стал идентифицировать себя с маленьким зверьком и начал мурлыкать. Но свою принадлежность к роду человеческому и свои страдания он выразит словами, своими «да» и «нет», отвечая на обращенные к нему слова, которые помогут ему возвратиться в ту сферу, из которой он выпал, стараясь угодить матери.

Сваливаясь на меня усталость сродни той, что испытываешь после непривычной физической работы. Стараясь услышать и понять этого ребенка, я мобилизовала все свои скрытые возможности, которые в обычной жизни не находят применения. И это впервые в жизни, столкнувшись с дыхательной недостаточностью у маленького ребенка, я объясняю ее стремлением идентифицировать себя с животным...

Третий сеанс

Нянечка приводит Матиаса и помогает ему сесть рядом со мной. Я говорю ему, что у него открыт рот и высунут язык — он тут же прячет его. Нянечка сообщает, что Матиас по-прежнему капризничает и бьется об пол. На Рождество мать заберет его к бабушке.

Матиас очень любит есть. Он ест чересчур много и все подряд, даже из помойного ведра.

Матиас берет весь имеющийся у меня пластилин и держит его в руках, не зная, что с ним делать. Затем отделяет два кусочка и соединяет их в один. Он весь сконцентрирован на работе и снова высунул язык, совсем как грудные дети, когда слушают, что им говорят. Показав на коробку, где лежал пластилин, он говорит: «Больше нет». Некоторые звуки он при этом плотает. Он берет еще два кусочка и склеивает их. В конце сеанса он собирает все кусочки пластилина и кладет их в корзинку, что напоминает мне известное выражение: «Все мы находимся в одной лодке!»

Четвертый сеанс

Матиас отказывается входить ко мне в кабинет, как и в начале второго сеанса (может быть, он боится волнений, которые вызывает у него перенос чувств). Проблемы с легкими у него продолжают. Но по мнению нянечки, он чувствует себя лучше. Как было заранее договорено, Матиас провел Рождество у родителей. Дома его обласкали и задарили игрушками (одна из них — резиновый голыш). Когда отец привез Матиаса в ясли, тот плакал. Он стал немного лучше говорить и не просыпается по ночам.

Во время сеанса он ведет себя совершенно спокойно и лишь временами высовывает язык (почти не изгибая его). Он лепит уже более сложные вещи из пластилина, а потом говорит: «Нет больше». Сегодня он не мурлычет. Я говорю ему:

— Ты уже не производишь шума, который издают горлом кошки. Ты работаешь руками с пластилином, чтобы что-то рассказать, животные не умеют этого делать.

Он сосредоточен, ловок и активен в течение всего сеанса, и я не ощущаю в нем ни малейшей тревоги. Он умеет пользоваться ластиком, карандашом и бумагой. В конце сеанса он раскладывает все предметы по местам. Я объясняю ему, что у каждого предмета свое место, но и каждое человеческое существо занимает свое место в собственной истории, в семье и в обществе. Тут вмешивается нянечка и говорит, что в семье Матиаса детей купают вместе с кошками... Это лишь подтверждает, что в этой семье бытуют очень смутные представления о том, какое место занимают в мире человек и прочие живые существа...

Пятый сеанс

Как всегда, Матиаса приносит на руках нянечка и сажает его на стул рядом со мной, хотя он сам умеет прекрасно ходить. Дыхание у него очень шумное. Я говорю: «Человеку не нужно дышать так громко, чтобы его заметили». Он кивает головой, соглашаясь. И втыкает карандаш в кусок пластилина, лежащий в коробке.

Нянечка рассказывает, что происходит с Матиасом во время дыхательной кинезитерапии. Матиас ходит на процедуры самостоятельно — он их просто обожает и с радостью подчиняется всем указаниям врача, даже медикаменты вдыхает с явным удовольствием. То послушание и даже удовольствие, с которым Матиас терпит неприятные процедуры, в том числе с ингалятором, ставят врача в затруднительное положение — она сомневается, должна ли она продолжать лечение. Она заметила, что вызывает у ребенка пассивную эротизацию. И ей в буквальном смысле неловко от того, что процедуры вызывают у этого ребенка совершенно очевидное мазохистское наслаждение. Как видим, любая часть тела может служить для ребенка источником эротических ощущений.

А Матиас той порой играет в довольно сложную игру, манипулируя металлическим колесом, обмотанным цепью. Эта игра, эта цепочка отдаленно напоминают ингалятор и резиновую трубочку, по которой медикаменты попадают в организм. Но если в реальности Матиас пассивно подчиняется процедурам, то в игре он руководит ситуацией.

Шестой сеанс

Матиас по-прежнему требует, чтобы его на руках вносили ко мне в кабинет. Воскресенье он провел у родителей, и утром в понедельник с ним невозможно сладить. Он капризничает, катается по полу, ничего не хочет слушать. Он тяжело дышит, и нянечка говорит, что он делает это «нарочно».

Матиас стоит возле входной двери, и слегка приоткрывает ее. Три пальца одной руки он засунул в рот, а другой — запикивает носовой платок в карман. Затем он начинает потихоньку выбираться из комнаты и прячется за дверь. Я говорю ему, что если он вышел из кабинета, то сеанс закончен. Тогда он стучит в дверь. Я несколько раз приглашаю его войти. Он мнетя у двери, но не решается войти, а затем вообще уходит.

Нянечка передает мне, что его родители хотят встретиться со мной.

Седьмой сеанс

Через несколько дней Матиасу исполнится два года. Его родители впервые приходят ко мне в Центр. Я сделала записи, которые почти полностью передают наш разговор о Матиасе. Поздоровавшись и пригласив их сесть, я спрашиваю, что они думают о сыне.

Мать. Да у него все хорошо.

Отец. Лучше, чем у братьев.

Мать. Когда у нас будет дом, мы сможем его забрать.

Они хотят продать свой домики купить побольше.

Отец. Я родился в деревне. Сейчас я безработный.

Мать. Моя мать слышала об одном доме, что продается.

Я спрашиваю, как у нее проходила беременность, когда она ждала Матиаса.

Мать. Когда срок был четыре месяца, я боялась, что потеряю его. У меня было три кесаревых сечения.

Отец. Третьего (Матиаса) я не хотел.

Мать. А я все равно решила его сохранить. У меня есть брат, а я бы хотела, чтобы был еще один брат или сестра. Я сказала им (мужу и матери): это не вы, а я рожаю!

Отец (глядя на Матиаса). Мой отец был вроде этого: рот открыт и язык висит. У него было больше признательности, чем у его братьев. *(Я прошу уточнить, что он имеет в виду)*. Он знал больше, чем братья. Мои родители умерли. У них было девять детей, я шестой.

Мать. А мой отец умер от рака, когда мне было десять или одиннадцать лет. Сейчас мне сорок два. Моя мать поселилась в домике. А мне плохо в нашей квартире. Мне нравится, когда дом отдельный. Каждые две недели я хожу к матери и когда возвращаюсь домой, то прямо погибаю. Мой муж много занимался Матиасом. Я нарочно его заставляла. Я сделала себе подарок ко дню рождения. Я хотела мальчика, а мама — девочку.

Матиаса кормили грудью всего неделю, после чего молоко у матери пропало. Она еще раз повторит, что рожала с помощью кесарева сечения. И равнодушно добавит, что во время родов, по просьбе мужа, ей перевязали трубы. Она провела в больнице всего два месяца (до родов и после).

Затем я спрашиваю, кто еще с ними живет.

Мать (выпрямляется на стуле и заметно оживляется). Две собаки: старый глухой охотничий пес Кики, которому уже восемнадцать лет, и сука моего старшего сына Дюдюс или Дюшес; пять кошек (мы подобрали одну бездомную, а она родила пятерых котят), котят зовут Мине, Лулут, Сури, Джонни, потому что он упал на гитару, и Калин. Еще у нас живет земная черепаха Диана, она ест все подряд, она уже слишком старая и не может закапываться *(позже я узнаю, что зимой черепахи закапываются в землю)*. Матиас обожает кошек, он знает их всех по именам *(в эту минуту Матиас тоже оживляется и произносит: ЛУЛУ и АДА)*, а еще он любит играть с метлой. У них было четыре попугая, но они умерли. Собака первая почувствовала, что попугаи заболели. Я только и отдыхаю, что с животными. Я мама-кошка.

Раньше у нас была спальня, где было чересчур жарко, тридцать градусов. Как раз тогда он и начал мурлыкать. Еще там пахло лекарствами. Все три мальчика нервные, как их отец. А я мягкая. Когда Матиас приходит домой, он сразу становится другим, я сажаю его на горшок перед телевизором, и он сидит десять, тридцать минут...

Матиас берет мать за руку и тянет ее к двери. Родители дают согласие на то, что я продолжу заниматься Матиасом, «раз это хорошо для него». После этого мы расстаемся.

Благодаря этой встрече я узнала много нового. Но, может быть, мне стоило встретиться с родителями Матиаса значительно раньше? Возможно, я должна была проявить настойчивость, к примеру, написать им письмо, а не просто передать через сотрудницу социальной службы, что они могут прийти ко мне, если пожелают? С другой стороны, меня неприятно удивляло, что, дав согласие на мои сеансы, они ни разу не поинтересовались у меня, как идут дела у их сына. Поэтому я предпочла подождать, когда они сами изъявят желание встретиться со мной, что и произошло спустя несколько месяцев после начала курса.

Во время разговора с ними я услышала много неожиданного, хотя какие-то сведения лишь подтвердили мои собственные выводы и наблюдения. Родители Матиаса говорили одинаково невыразительно и монотонно, когда рассказывали о детях, своих родителях и о себе. Вяло опустившись на стулья, они уже почти не двигались и даже не жестикулировали, а с помощью самых примитивных слов просто-напросто перечисляли события своей жизни. Говоря о старшем сыне, отец, чтобы объяснить его отклонения, сказал лишь, что он «слишком много ему позволял». Среднего он назвал дебиллом, которому нужно помочь. Матиаса отец считает самым умным из сыновей и похожим на деда по отцовской линии, то есть все-таки вписывает его в историю семьи, хотя и признается, что не хотел его рождения.

Но как же они оба преображаются, когда слышат вопрос: кто живет у них в доме? Забыв о том, что там живут их сыновья, они могут наконец-то рассказать, кто действительно живет с ними — это их животные. Контраст просто удивительный! Они оба выпрямляются, их речь полностью меняется, фразы становятся длиннее, они рассказывают забавные истории о своих животных, приписывают им прямо-таки человеческие чувства и сами говорят о них с искренним волнением. О детях они рассказывают с гораздо меньшим чувством, чем о животных. Когда Матиас слышит имена животных, он тоже оживляется и начинает лопотать. Он тоже, как и родители, преображается. В этой семье животные не только имеют свои клички (связанные с какой-нибудь историей, как например Джонни, упавший на гитару), но и свой характер, ум, чувства.

Мать Матиаса, сама назвавшая себя «матерью-кошкой», очень человечно относится к животным, которых она принимает такими, какие они есть. Но эта же мать из класса млекопитающих относится к своим детям, как к предметам, которые находятся полностью в ее власти и которых она безжалостно отталкивает от себя, как только

они покидают ее чрево и обретают минимальную автономность. Она единственная, кто в этой семье хочет, чтобы Матиас появился на свет, но при этом думает о смерти (я так и не поняла, о чьей смерти думала она во время беременности — своей или ребенка). Матиас — это «подарок» к ее дню рождения: «Ты же не сделал мне никакого подарка», — говорит она при мне мужу. Вот она и решила отпраздновать свое рождение, родив себе ребенка. Идея преподнести себе ребенка в качестве «подарка» представляется совершенно извращенной, потому что мать при этом полностью перечеркивает роль мужа в его зачатии. Сама же она в полном восторге от этой идеи: ребенок-подарок — это предмет, который принадлежит только ей. Но отрицая наличия отца как производителя, она, заимев этого ребенка, тут же теряет к нему интерес и «нарочно» спихивает его мужу.

Меня удивило также, с какой точностью эта мать, задолго до меня, поставила правильный диагноз и определила причину заболевания своего сына: он мурлычет, чтобы угодить маме-кошке!

Во время моей встречи с родителями Матиаса я не обсуждала с ними вопрос о том, как они относятся к помещению мальчика в ясли. Как я поняла, ясли для них — это место, где Матиас становится «другим». И как только он возвращается в семью, мать стремится сделать его «домашним», приручить (точно также, как дрессируют взятое в дом животное), она старается «переделать» его на свой манер и требует, чтобы он опорожнял желудок, даже не поинтересовавшись, хочет ли он этого, и даже не задумываясь над тем, что заставляет это делать благодаря телевидению, которое занимает в это время его голову.

Восьмой сеанс

Няечка приносит Матиаса на руках — на сей раз потому, что он крепко спит. Он не спал после полудня и заснул в машине. Няечка говорит, что он капризничает, ревниво относится к другим детям, с трудом привыкает гулять с детьми в детском саду, куда водят на прогулки ясельных детей, и ни на шаг не отпускает ее от себя. Он падает на землю и колотится головой. Сегодня в десять утра — по дороге в суд — заходили родители Матиаса: они хотят забрать его домой, но не могут это сделать без разрешения судьи.

Я повторяю спящему Матиасу все, что услышала от его няечки: родители хотят его забрать, но для этого требуется позволение судьи. Затем няечка рассказывает мне о животных, с которыми Матиас общается, когда попадает домой. В эту минуту Матиас вздрагивает, открывает глаза и тут же снова засыпает.

Стоит ли продолжать прием и говорить что-либо ребенку, если он спит? Можно ли думать, что он способен слушать во сне? Опыты со взрослыми людьми показали, что произносимые вслух слова вписываются в память спящего человека и — при случае — могут ожить в его сознании. То же самое подтверждают и люди, выходящие из коматозного состояния. Франсуаза Дольто уверяла, что спящий ребенок — все равно, что эмбрион, живущий в теле матери: он одновременно и спит и слушает.

Девятый сеанс

Матиас поднимается по лестнице ко мне в кабинет, держась за руку няечки. Сегодня у нее не так уж много новостей. Она говорит только, что Матиас стал лучше себя вести на прогулках в детском саду. Он по-прежнему настаивает, чтобы во время сеанса она оставалась рядом с ним, и начинает играть с пластилином. Он очень тяжело дышит и снова мурлычет. Я говорю:

«Руками ты работаешь, как мальчик, а горлом издаешь звуки, как котенку». Он слушает меня, высунув язык. Когда я замолкаю, он начинает дышать бесшумно.

Он играет с машинкой и произносит: «ЛУЛУ» (это кличка кошки), затем что-то рисует, но не комментирует своего рисунка. Я называю вслух цвета фломастеров, которыми он пользуется. Он громко повторяет: «оранжевый», «голубой». Матиас произносит:

«оранжевый», «галубой». Он не может произнести «о». Показав на пепельницу, он говорит: «кака». По запаху, который от него идет, я понимаю, что он сделал в штанишки. И, может быть, впервые в жизни этот ребенок ассоциирует слово с делом?

Десятый сеанс

Матиас поднимается ко мне один, с очень решительным видом и держа в руке кусок пирожного, который он нашел в игрушечном грузовичке, пока дожидался приема в зале ожидания. Войдя в кабинет, он показывает пальцем на врача-психоаналитика (которая отсутствовала на предыдущем сеансе) и говорит «балабала». Он то и дело высовывает язык, но дышит практически бесшумно. Он садится, засовывает ластик в бутылочку, добавляет туда несколько крошек от пирожного и закрывает бутылочку.

Я говорю ему: «В такие бутылочки кладут то, что можно есть. Ты высовываешь язык, как ты это делал, когда пил из бутылочки и слушал, как ты пьешь». Он засовывает в бутылочку еще два ластика. А я продолжаю: «Когда мама давала тебе бутылочку, она не знала, что тебе хочется, чтобы она поговорила с тобой». Он прячет язык и закрывает рот. Я говорю: «Ты не ешь пирожное, потому что знаешь, что о пирожном можно сказать какие-то слова. Когда с человеческими детенышами говорят, они при этом сами учатся говорить». В эту минуту пирожное падает на пол, и Матиас очень отчетливо произносит: «Пирожное упало». Я говорю: «Ты сказал человеческие слова, которые все прекрасно поняли. Ты узнал эти слова, слушая, как говорят другие люди». Теперь Матиас берет в руки нож и хочет разрезать пластилин. Я говорю: «Инструмент, который ты взял, имеет свое название — это нож. У каждой вещи есть свое название. С помощью слов можно называть вещи и описывать действия. А еще с помощью слов можно выражать и описывать чувства». Он смотрит на меня, снова высунув язык. При этом он крошит пирожное, но не ест его. Я говорю:

«Тебе не хочется есть. Тебе хочется слов». Он режет пирожное ножом. И глядя на меня, смеется и прячет язык. Перед уходом он самостоятельно собирается и уносит с собой нарезанные им кусочки пирожного.

Этот ребенок, который, как мне не раз говорили, страдал ожорством и в поисках съестного готов был рыться в отбросах, не попробовал очень хорошее пирожное, найденное в зале ожидания. Комментируя ему его собственные действия, я каждый раз подчеркиваю символическое и языковое богатство, с помощью которого можно выразить его действия и чувства. Он в буквальном смысле насыщается моими словами, и его желание общаться значительно сильнее, чем желание есть.

В свете этого сеанса можно предположить, что если бы с ним больше говорили, то свою потребность в еде он не путал бы с жаждой общения.

Так что в тех случаях, когда младенцы едят явно больше нормы, возможно, с ними нужно просто иногда разговаривать, а не совать им в рот бесчисленные рожки с питанием.

Одиннадцатый сеанс

Матиас не торопится подниматься ко мне. Он сидит под лестницей, которая ведет в мой кабинет, и играет с машинкой, найденной в приемной. Нянечка поднимается ко мне одна. Я спускаюсь за Матиасом. Он протягивает мне руку и очень охотно поднимается вверх. Но он снова не отпускает свою нянечку на время сеанса: это говорит о том, что он еще не чувствует себя «независимым». Он с шумом катает по полу машинку. И никак не может решить, чего же он хочет: то ли сесть, то ли уйти? Какое-то время он мнетя на ногах у двери, затем возвращается в кабинет. Он кашляет, но не мурлычет. Он заглядывает за шкаф, потом изучает металлическую пластинку на двери; он смотрится в нее, как в зеркало, и видит там и мое отражение. После чего он выходит из комнаты и видит такую же пластинку на той стороне двери. Он остается за дверью и катает машинку по металлической пластинке, но я вижу его в полуоткрытую дверь. Я говорю Матиасу, что если он совсем ушел из кабинета, то сеанс закончен. И попутно объясняю, что если одна его часть остается в кабинете, а другая — в коридоре, то это похоже на то, как он живет то в яслях, то у себя дома.

У машинки отваливается колесо. Он говорит: «сломалась», пробует ее починить, просит помочь ему нянечку, но у той тоже ничего не получается. Я обращаю внимание на то, что он одет во все розовое, и спрашиваю, чья эта одежда: ясельная или домашняя. Нянечка отвечает, что домашняя. Тем временем Матиас совсем выбирается из комнаты. Когда я его больше не вижу, то есть он уже никоим образом не присутствует в кабинете, я говорю, что сеанс закончен.

Двенадцатый сеанс

Нянечка рассказывает мне о том, что ее тревожит в поведении Матиаса: он не хочет осваивать правила гигиены. Он отказывается носить подгузники, их сняли, и теперь он делает где и когда придется.

До сих пор Матиас знал только две ситуации: дома, чтобы убажить мать, он должен подолгу сидеть на горшке, а в яслях он носит подгузники. Но он еще слишком мал и не владеет своими сфинктерами (ему еще нет тридцати месяцев, когда дети достигают определенной зрелости и сами начинают «проситься»). А подгузники он теперь отказывается носить. Возможно, он видит в них какое-то принуждение, против которого бунтует? Ведь мать только путем принуждения заставляет его осуществлять естественные отправления. Нет ничего удивительного, что Матиас — с подгузниками или без — пока еще делает под себя. В его возрасте это вполне объяснимо. Хотя у меня такое впечатление, что отказываясь от подгузников, Матиас таким образом бунтует против власти матери над своим телом. Но не имея возможности бунтовать дома, где с ним никто не считается, он бунтует... в яслях.

Нянечка рассказывает еще, что на Пасху Матиаса на целый день забирали родители. Мать, которая после этого

привезла его в ясли, сказала: «Колокола отзвонили, и нужно раскладывать яйца по ячейкам...» И еще она сказала нянечке, что дети в этот день ссорились, и чтобы их утихомирить, отец брызгал на них водой, как на собак, которые дерутся.

Матиас во время нашего разговора с нянечкой сидит на четвереньках на лестнице. Он поднимает ноги, снимает обувь, трогает свой пенис и ни за что не хочет подниматься ко мне в кабинет.

Я спускаюсь к нему и говорю: «У тебя не лапы, а ноги. А обувь тебе нужна, чтобы защищать твои ноги. Ноги тебе даны для того, чтобы носить тебя, чтобы ты мог ходить прямо. Ты мальчик, и у тебя половой член, как у мальчика. Он служит тебе для того, чтобы делать пи-пи, когда тебе хочется. Он служит тебе только для этого». Я прошу нянечку объяснить ему, что мальчики делают пи-пи стоя, перед унитазом. Может быть, он отказывается носить подгузники, потому что, помимо прочих причин, хочет чувствовать и свободно трогать свой пенис?

Тринадцатый сеанс

Родители Матиаса попросили разрешения прийти, но не пришли. А у Матиаса все та же проблема: он не хочет носить подгузники и пачкает штанишки. Он замер посреди кабинета и сосет палец. Я рассказываю ему, как делают «пи-пи» и «ка-ка» животные и люди, что между ними общего и в чем различие. Он водит мокрым от слюны пальцем по дверце шкафа. Я говорю Матиасу, что животные, которые живут на свободе, помечают свою территорию, делая «пи-пи» и «ка-ка», но даже животные не делают этого где придется. Человеческие существа тоже не делают этого где придется, но по другой причине: я объясняю ему, что происходит с экскрементами, после того, как мы в туалете спускаем воду. Матиас той порой крутит дверную ручку, а затем становится «в угол». Я понимаю, что родители, дрессируя сына, ставят его «в угол», если он делает «глупости». Он лижет дверь и произносит: «ка-ка». Я объясняю ему разницу между людьми и животными: животные делают «ка-ка», но не умеют произносить «ка-ка».

Матиас укладывается на живот, засовывает голову под шкаф и колотится об него головой.

Я говорю ему:

— Ты никогда не сможешь стать животным. Люди не рожают кошек. Твои родители — люди и они дали жизнь маленьким мальчикам. Еще даже не умея говорить, человеческие существа понимают человеческий язык, а потом они начинают на нем говорить. Мне кажется, у тебя дома тебя заставляют многое «делать» и очень редко «говорить». Может быть, поэтому ты и «делаешь» где и когда придется.

Четырнадцатый сеанс *(Матиасу двадцать восемь месяцев)*

Он приходит ко мне вместе с нянечкой и при этом громко вопит: «Нет, нет, нет!». И весь этот сеанс он пролежит на полу.

Нянечка рассказывает мне, что родители Матиаса хотели прийти ко мне в прошлый раз, но потерялись. Все это с помощью трансфера я передаю Матиасу, который немного успокаивается, но продолжает повторять свое «нет». В яслях он уже не так часто капризничает и соглашается ходить в туалет, когда ему предлагают. Дома отец Матиаса очень недоволен его нечистоплотностью и в воскресенье очень рассердился за это на Матиаса (сам он в это время молчит). Утром в яслях также не обошлось без конфликта (Матиас начинает орать): он не хотел есть в столовой с другими детьми и ждал, когда столовая совсем опустеет. Я говорю ему:

— Когда ты возвращаешься от родителей, ты, наверное, снова становишься грудным ребенком, каким ты был, когда жил с ними. Но ты не обязан так делать. Я думаю, твои родители хотят, чтобы ты рос, но в течение недели жил в яслях. Когда ты становишься грудным ребенком, твой папа сердится, а ты страдаешь из-за этого. Твои родители видят, что ты уже большой. (Он смолкает и мурлычет, затем снова начинает вопить. А я продолжаю). Я думаю, когда ты был совсем маленький и лежал в колыбельке, ты очень хотел, чтобы с тобой разговаривали (он сосет большой палец и отворачивается). Домашних животных дрессируют, чтобы они соблюдали чистоплотность, но твои родители никогда не дрессировали животных, и они делают где придется. Твои родители думают, что тебя нужно дрессировать, потому что ты тоже делаешь где придется. Но они не знают, что ты делаешь это нарочно. Ты ведь не нуждаешься в том, чтобы твой отец тебя дрессировал. Ты ведь сам знаешь, когда и где нужно делать «пи-пи» и «ка-ка».

Продолжая лежать на полу, он ставит над собой стул. Дышит он совершенно бесшумно. В конце сеанса он встает на ноги и уходит в очень хорошей форме.

Я и в самом деле думаю, что дома его дрессируют, как надо было бы, наверное, дрессировать животных. И он нарочно провоцирует отца, который занимается дрессировкой собственного сына. Когда он выводит отца из себя,

то навлекает на себя побои и наказания и выдерживает их с очевидным удовольствием. Именно поэтому он и пытается воспроизводить подобные сцены в яслях, но здесь обстановка совершенно иная и взрослые реагируют на него не так, как дома.

Мои объяснения звучали сегодня несколько натянуто, потому что я вовсе не хотела бы ставить ему в пример животных и всерьез уверять, что ни одно животное не делает где придется. На самом деле виноваты родители, которые придают слишком большое значение проблеме «пи-пи» — «ка-ка», и тогда это становится проблемой у их маленьких детей! Ноя ни в коем случае не могу усомниться в правоте его родителей: до трехлетнего возраста дети считают своих родителей безупречными. И если в этом случае усомниться в правоте родителей, то поставишь под вопрос и самого ребенка как дитя своих родителей. Поэтому я не вмешиваюсь в то, что происходит в семье Матиаса между ним, его родителями и животными, но стараюсь все-таки объяснить мальчику какие-то вещи, чтобы помочь ему обрести себя в этой семье, какой бы она ни была.

Пятнадцатый сеанс

Матиас приходит с родителями, которые, наконец, добрались до Центра, где я принимаю.

Отец находит, что Матиас делает прогресс: он различает цвета, старается убирать стол после еды и начинает сам одеваться. Славный будет парень — сильный и драчун.

Мать рассказывает, что Матиас подрался с братом в машине, и их пришлось разнимать. «Будем его скоро крестить, — говорит она. — Мы сидим без денег, моя мать платит. Других тоже крестили с опозданием. (Обращаясь к мужу) Помнишь, когда крестили старшего, ты забыл мыльницу. А второй стал раздеваться, чтобы мыться. (Крестины для ребенка — игра, оплаченная бабушкой; никакого религиозного или символического значения ей не придается). Дома Матиас играет с кошками, он их одевает и заставляет носить подгузники. И кошки терпят. Старый Виски отпихнул его пару раз лапой. Суку раньше немного дрессировали, а остальных животных — нет. (Какая понимаю, у Матиаса меняется способ идентификации: с животными он обращается, как с младенцами, но сам ведет себя при этом, как ребенок. Впрочем мать подтверждает, что в этой семье дрессируют только детей., как животных, а самих животных не дрессируют).

Отец. Он часто злится. Я умею его обуздывать, но его можно успокоить только холодной водой.

Мать. У него (у отца) больше терпения, чем у меня, если только он не бесится. Матиас идет в туалет, берет горшок, ставит его перед телевизором и делает «пи-пи» и «ка-ка», когда идут передачи про животных (!). (Значит, Матиас, как только приходит домой, старается угодить матери: его таз настроен на то, чтобы доставлять удовольствие взрослому человеку, что не сможет не сказаться на его сексуальности — и это вдобавок к тому, что у него и так проблемы с идентификацией. Мать, судя по всему, не понимает, как сам Матиас относится к этому: глядя на животных, он в буквальном смысле испражняется...) *Когда будет хорошая погода, мы пойдем в Венсеннский зоосад. Воскресенье — семейный день, они больше не хотят ездить к бабушке.*

Я прошу отца рассказать о его семье.

Его дед со стороны отца был рабочим, алкоголиком и дебоширом. У него был револьвер. Однажды он пригрозил убить всех детей (шесть мальчиков и трех девочек, отец Матиаса был шестым ребенком). Когда отцу Матиаса было восемь лет, у него было плохо с нервами, и его на два года поместили в такие же ясли.

Когда ему исполнилось шестнадцать, он хотел уйти из дома, но остался, чтобы защищать мать: «Теперь я обуздывал отца, когда он пил, — рассказывает он. — Я видел, как плакала мать. (Матиас прижимается к матери, у которой сидит на коленях). Семья развалилась, когда умерли родители: отец — шестнадцать лет назад, а мать — пятнадцать. После них ничего не осталось. Ружья я продал, а револьвер подарил зятю, который служил в Индокитае».

(В юности отец Матиаса добровольно взялся обуздывать отца-буяна, чтобы защитить мать. Можно сказать, он посвятил этому свою жизнь. Точно также он обуздывает теперь и своих сыновей, не подозревая, что могут быть и другие формы общения отца с сыновьями).

В это время Матиас начинает говорить и называет имена: Каль — это Паскаль, Бьен — это Фабиен, Ли-лин — имя его матери.

Мать продолжает. Лили, Эвелин... Я так и осталась навсегда маленькой девочкой для моей матери. Я говорю ей, что это действует мне на нервы, из-за этого мы с ней часто ссоримся. Всех детей зовут «тити», а когда они вырастают, им дают настоящее имя. Моя мать цацкалась со мной, как не знаю с чем, и хочет, чтобы я также воспитывала своих детей. А я не хочу. Она нашего первого к себе брала и тоже цацкалась с ним. Так нельзя

растить детей. Она мне говорит: «Ты детей воспитываешь, как собак». Если бы я воспитывала их как собак, я бы здесь не сидела и не говорила с вами. Он (об отце), говорит, что старший у нас — недоразвитый. А меня вы считаете нормальной?»

Единственная цель, которую преследует эта мать при воспитании своих детей — это делать все наперекор собственной матери и растить их совсем не так, как та растила ее. Эту же цель она преследовала и когда рожала Матиаса, потому что родила его против воли матери. Мать «цацкалась» с ней, когда, она была маленькой — в этом она видит главный источник своих проблем и хочет, чтобы ее дети выросли непохожими на нее. Она растит своих сыновей, как безмянную свору собак. И подобная животная любовь — самое лучшее, чем она может одарить своих сыновей.

Мать этой женщины не лишена проницательности и очень точно заметила дочери, что та воспитывает детей, как собак. При этом матери Матиаса хватает юмора, чтобы сказать: «Если бы, я воспитывала их, как собак, я бы здесь не сидела и не говорила с вами».

Разве это такая редкость, когда люди разговаривают с домашними животными более охотно и намного душевнее, чем со своими детьми или с другими взрослыми людьми?

Если попытаться ответить на вопрос, кто же безумен в этой семье, то неизбежно окажешься в тупике, потому что старший сын считает бабушку ненормальной, родители считают недоразвитым его самого, а мать спрашивает меня, считаю ли я ее нормальной.

Шестнадцатый сеанс

Наконец-то я решаюсь ввести символическую плату за свои сеансы и прошу Матиаса приносить теперь каждый раз камушек, если он хочет и дальше приходить ко мне, чтобы разговаривать о его проблемах. Я, конечно, могла (и должна) была это сделать намного раньше, например, после моей первой встречи с родителями, которые по сути разрешили Матиасу продолжать курс лечения, начатый по просьбе ясель. Не сделав это в то время, я ждала момента, который Франсуаза Дольто называет «вторым рождением», когда ребенок из животного состояния зависимости переходит к человеческой свободе говорить «да» или «нет».

Однако я опасалась, что Матиас, который, как и любой ребенок, родился млекопитающим, но вдобавок очень хотел стать котенком, так и застрянет на этом этапе и из животного состояния не переродится в человека. Это опасение и помешало мне ввести символическую плату с самого начала — а вдруг Матиас дал бы нам всем понять, что не хочет продолжать лечение? Теперь я вижу, что это была ошибка: я недооценила способность Матиаса понять, что он приходит ко мне ради самого себя — именно это и должна была символизировать плата за сеансы в виде камушка. И сейчас, задним числом, я вынуждена признать, что психоанализ как таковой начинается только с введения символической платы, а до этого происходят лишь встречи аналитика с ребенком.

Семнадцатый сеанс

Нянечка рассказывает, что Матиас делает иногда в шпанишки. Но при этом он, по ее мнению, научился делать массу новых вещей. «Просто потрясающе, как он хорошо развивается!» — говорит она. Дыхательную кинезитерапию ему теперь делает мужчина, и Матиас реагирует на это совершенно *спокойно*.

Во время этого сеанса Матиас полон энергии, много говорит и даже не присаживается. Сегодня у нас с ним «технологический» сеанс: я объясняю ему, как пользоваться ножом и ножницами. Я объясняю все это только на словах и не беру в руки эти предметы. Если аналитик не *говорит*, а *делает*, показывает, он переводит разговор в область реальности и подменяет собой мать или отца консультируемого ребенка, а это противоречит методу психоанализа.

Я с трудом убеждаю Матиаса оставить мне камушек, который он не забыл принести. Тональность этого сеанса в корне отличается от предыдущих: впервые я почти готова поверить, что на протяжении всего сеанса, без всяких разрывов, вижу перед собой настоящего маленького мальчика.

Восемнадцатый сеанс

Нянечка рассказывает, что последние два дня с Матиасом не все в порядке. Он расквасил себе нос, но доктор по дыхательной гимнастике «ему его немного подлечил». Пока нянечка рассказывает, Матиас безумолку говорит, словно старается заглушить ее голос. Но она продолжает свой рассказ и сообщает, что произошло в детском саду, куда водят гулять ясельных детей. Чтобы проявить свой характер, Матиас наделал в шпанишки. А когда она в полдень пришла за ним, но сначала немного погуляла с другим ребенком, Матиас устроил сцену ревности, и опять поранился. Нянечка взяла его на руки и он не шевелился, пока она несла его к врачу. Там он сказал, что у него

«бобо», стал звать маму, а потом свернулся клубочком и начал сосать палец. Он согласился, чтобы нянечка покормила его, только когда из столовой ушли все дети. Он довольно быстро заснул, но спал очень беспокойно.

Матиас принес свою символическую плату и вручает ее мне.

Сегодняшнее сообщение нянечки показалось мне очень важным. Как я представляю себе, схожий эпизод произошел в первые же месяцы жизни Матиаса, когда он начал мурлыкать, так как хотел заменить матери кошек, которые в те дни были изгнаны из их дома. Таким способом он надеялся заслужить нежность своей матери. Однако материнской ласки он так и не дождался, зато получил легочное заболевание. Должно быть, он так сильно ревновал мать к кошкам, что даже впал из-за этого в глубокую депрессию. В ту пору он оставался совершенно безутешным, и никто не пытался его утешить. Вспомним, что в такую же безутешную печаль он погрузился во время второго сеанса и не захотел, чтобы его пожалели.

Рассказ нянечки заставляет меня вспомнить прошлое Матиаса и позволяет судить об эволюции, которую проделал мальчик в своем развитии.

Приревновав нянечку к ребенку своего возраста, устроив истерику и поранившись, он вел себя, как младенец, и благодаря этому добился внимания и нежной ласки своей нянечки, которая теперь от него не отходила. Его пожалели, и он этим вполне утешился, чего у него никогда не случалось в общении с матерью.

Пока нянечка излагает, что произошло с Матиасом, я вижу, что он явно доволен собой и непрерывно рассказывает что-то свое.

Когда приходит время прощаться, он отказывается от помощи нянечки и сам спускается по лестнице, ступая очень твердо и решительно.

По-моему, Матиас сам пожелал заново пережить болезненный эпизод из своего раннего детства, но на сей раз он вышел из него не подавленным, а успокоенным и душевно окрепшим. У него появился позитивный настрой, который так пригодится ему в жизни.

Родители Матиаса получили разрешение забирать его на выходные раз в месяц. А в нашем Центре начинаются летние каникулы.

Деятнадцатый сеанс(после летних каникул)

Нянечка сообщает, что дела у Матиаса идут на лад и каникулы прошли благополучно. Но когда он капризничает и хочет проявить характер, то делает под себя, как это случилось три недели назад. Во время каникул это очень раздражало отца Матиаса. Он даже пригрозился вымазать ему лицо экскрементами, как он это делал с его братьями(!).

Матиас забыл принести свою символическую плату (он ведь не приезжал ко мне два месяца), но хочет, чтобы сеанс продолжался. Когда я прошу нянечку подождать его в зале ожидания (я совсем забыла, что до этого он никогда не оставался у меня один, а сегодня мне показалось, что он вполне на это способен), он тут же принимается вопить, чтобы выразить свой протест, укладывается в коридоре на пол, начинает мурлыкать и сосать большой палец. Я говорю ему:

— Я думаю, ты знаешь, что твоя нянечка никуда не уйдет и после сеанса ты снова увидишь ее. Это когда ты был совсем маленьким, ты не знал, увидишь ли ты снова нянечку, если она отходила от тебя.

Он мгновенно успокаивается, вновь обретает уверенность в себе и спускается вниз, желая убедиться, что нянечка действительно ждет его в приемной. Затем самостоятельно поднимается ко мне и спокойно надевает обувь, которую сбросил в начале сеанса.

Потом он говорит мне «до свидания» и собирается уходить. Я прошу его передать родителям, что приглашаю их прийти ко мне. Он утвердительно кивает головой.

Меня очень удивило, что Матиас до сих пор не переносит разлуки с нянечкой, а я-то думала, что он уже к этому вполне готов. Стоило ему с ней ненадолго расстаться, как он испытал страх, тревогу и вернулся к тому состоянию, когда находился в полной зависимости от матери или временно заменявшей ее нянечки. Я не должна была забывать, что сегодня, после двух месяцев разлуки со мной, он вспоминает и «обретает утраченное». Судя по всему, я недооценила, как болезненно он переживает разлуку. Но в конечном счете он не так уж плохо справился с сегодняшней ситуацией.

Двадцатый сеанс

Когда я спускаюсь за Матиасом, он сам подходит ко мне и, опережая меня, начинает энергично подниматься по лестнице, чередуя ноги и не держась за перила. И он не делает никакого знака нянечке, чтобы та следовала за ним. Оказывается, он не только может один прийти ко мне на сеанс, он способен решить это самостоятельно.

Сегодня я жду и его родителей. Но вскоре выясняется, что его отец — вместо Центра, где я принимаю, в назначенный час пришел в ясли!

Матиас что-то молча рисует, а затем вырезает свой рисунок. После чего он до конца сеанса будет выковыривать пластилин из машинки «скорой помощи». Он открывает ножом заднюю дверцу и с явным удовольствием и силой засовывает туда ножницы, чтобы извлечь прилипший там пластилин.

Я комментирую ему его действия: мне кажется, что пластилин для него — это «кака», что исторгает из него мать, как только он приходит домой. Я не совсем уверена в своей догадке, но не могу найти другого объяснения.

Перед уходом Матиас говорит: «Я принес камушек», — и кладет его прямо в ящик моего стола.

Двадцать первый сеанс

Отец Матиаса пришел один, без матери. Он очень доволен Матиасом. Тот меньше теперь воюет и больше подружился со старшим братом, потому что средний живет «отдельно». Разговаривая со мной, отец, по просьбе Матиаса, достает кусочки пластилина из бутылочки для молока. На прошлом сеансе сам Матиас извлекал пластилин через заднюю дверцу машинки.

— В моей семье, — рассказывает отец, — были трудности с восьмым, с ним все время надо было заниматься. В семье жены было всего двое детей, и она не видела разницы. Матиас стал аккуратным. Он сам просится и все быстро делает. А я совсем погиб, — добавляет он, — я превысил скорость и у меня отобрали права. Будь у меня права, я бы выкрутился, поехал бы в М. (название местности). А еще у меня украли «плей-мобил» (вместо того, чтобы произнести «плейхоум»).

Как я поняла, отец Матиаса очень удручен и совсем не верит в свое будущее. После разговора со мной он спускается в приемную и дожидается там Матиаса.

— Ты принес камушек? — спрашиваю я Матиаса. Он не отвечает и накладывает пластилин в чашку, а затем с помощью ножа извлекает его оттуда. Чашка падает на пол, он слезает со стула, чтобы достать ее. Затем с огорченным видом разглядывает соску для бутылочки и произносит: «дырка». Но пластилин через нее не проходит — это его огорчает. Затем он становится очень активным, говорливым и называет все цвета фломастеров, которыми рисует...

Двадцать второй сеанс (Матиасу два года и девять месяцев)

Он принес свой камень и небрежно положил его на стол. Он изучает все, что лежит на столе, охотно разговаривает, называет все цвета, рисует.

Нянечка поднялась, чтобы сообщить, что когда Матиас недоволен, он спускает штанишки.

Он не хочет сидеть на подушке, которую я подкладываю на стул, чтобы ему было удобнее сидеть, так как стул не предназначен для его маленького роста. Но с подушкой он ведет себя также, как в свое время с подгузниками: его желания опережают его физические возможности. Он ловко пользуется всеми инструментами и прикалывает свой талон к доске, сделанной из пробки.

Двадцать третий сеанс

Матиас принес камушек и показывает мне его, как только входит. Сегодня во время сиесты он сделал «ка-ка», выпачкал экскрементами постели других детей, а затем пытался их очистить. Он весь вымазался. И не захотел спать во время сиесты. Нянечка пыталась пристыдить его, тогда он написал на пол, после чего взял тряпку и сам все вытер. Рассказав об этом, нянечка выходит и оставляет Матиаса наедине со мной.

Сегодня он очень активен и разговорчив. Он играет с пластилином и старается не смешивать цвета. Он лепит грузовичок, кролика, возит их по столу и переправляет через мост. Я напоминаю, что у его папы есть грузовик («плеймобил», который украли). Из синего пластилина он лепит курицу, затем петуха. А это самолет — он катит, катит его по столу, пока тот не падает на пол. Он осваивает понятие «такой же» на примере двух фломастеров одного цвета.

Двадцать четвертый сеанс

Матиас забыл свой камушек. И каждый день хоть раз делает в штанишки.

Он неохотно поднимается в мой кабинет и тяжело дышит, но уверяет, что хочет, чтобы сеанс состоялся. Он не снимает куртки. Свалив на пол весь пластилин, все фломастеры и опрокинув стулья, он садится в угол и со злостью бросает пластилин в дверь. Последние несколько сеансов я не очень хорошо понимаю его поведение. Его проделки с «пи-пи» и «ка-ка» очень сильно занимают не только его родителей, но и нянечек. Я вижу, что в разных местах он ведет себя совершенно по-разному. И я объясняю ему, что в разных местах могут быть разные правила, это зависит от места и людей, которые там живут. У него дома, в яслях и у меня в кабинете правила могут быть разными — нужно просто знать их и привыкнуть к ним.

Двадцать пятый сеанс

Матиас очень охотно поднимается ко мне. В руках у него полно фломастеров, которые он взял в зале ожидания. Он нарочно не принес своей символической платы. Поэтому я вскоре прерываю сеанс (раз он не принес камушек) и говорю, что рада, что он так ясно дал мне понять, что не хочет сегодняшнего сеанса. Он с достоинством выходит. Ожидавшая его в приемной нянечка говорит, что Матиас брал с собой камушек, но по дороге потерял его. Я ему говорю:

значит, одна часть Матиаса не хотела сегодняшнего сеанса и она взяла верх.

Двадцать шестой сеанс

Нянечка говорит, что последние три месяца Матиас, если что-то не по нем, раздевается и плюется (раньше в этих случаях он делал под себя). И это крайне неприятно, потому что другим детям это нравится, и они начинают делать то же самое. Отец Матиаса не выносит, когда тот раздевается (как он не выносит его нечистоплотности).

Матиас забыл свой камушек, но хочет продолжать сеанс. Он много говорит, сам комментирует все, что делает, использует такие понятия, как «большой», «маленький», «такой же», называет птиц, которые ему известны (ворона, чайка) и т. д.

Двадцать седьмой сеанс

Спустившись в приемную, я вижу, что Матиас лежит там на полу и плюет в рисунок, а его камень лежит рядом с ним.

Поднимаясь ко мне, он свистит в свисток от чайника (служащий ему игрушкой). Грязными руками он лезет в рот, мочит их слюной, а затем водит ими и «пишет» по стене.

За весь сеанс он не произносит ни слова. Рот у него открыт, а язык высунут, как во время самых первых сеансов. Он ставит стул перед дверью и подползает ко мне под стулом. Он снимает ботинок с одной ноги, затем садится, чтобы надеть его. Теперь он раскачивает стул, стоящий у него над головой. В конце концов он ушибает руку, но не жалуется.

Когда сеанс заканчивается, он не хочет уходить (вот если бы стулом можно было загородить дверь, не нужно было бы уходить). Он поднимается с пола, садится, рисует, разговаривает.

Такое впечатление, что на протяжении одного сеанса Матиас из одной возрастной категории перешел в другую. В начале сеанса он вернулся к тем средствам выражения, которые ему были свойственны в возрасте, когда он пережил разрыв и депрессию, а в конце — снова обрел свой реальный возраст.

Двадцать восьмой сеанс

Такие сеансы, как сегодня, я называю для себя «Матиас — мальчик», в отличие от первоначальных сеансов, когда видела перед собой «детеныша животного». Он подвижен и динамичен. И его все интересует: новые слова, новые предметы, инструменты и т. д.

В конце сеанса я спрашиваю, принес ли он камушек. Он заявляет, что хочет приходить ко мне, но не хочет приносить камень. То есть он предпочитает вернуться к ситуации, когда я не требовала от него символической платы.

Я объясняю ему, что в таком случае это уже не будут сеансы психоанализа. В самом начале занятий я не просила

приносить его камушек, потому что думала, что он чересчур маленький. Но теперь я вижу, что ошибалась и должна была сразу потребовать от него этой платы. Перед уходом он раскладывает по местам все предметы, которыми пользовался во время сеанса, и прощается.

Двадцать девятый сеанс

Матиаса не привезли на сеанс, потому что в яслях перепутали день и час приема. Досадно! Зато пришли сотрудники социальных служб. Они говорят, что считают необходимым подыскать для Матиаса временную приемную семью, но не хотят помещать мальчика в ту же семью, в которой живет его старший брат. Они предвидят, что это будет ударом для его родителей, но так будет лучше для Матиаса.

При общении с социальными службами, которые защищают интересы ребенка, психоаналитик (я подчеркиваю: не психолог, не воспитатель, а именно психоаналитик) не должен вмешиваться в реальную жизнь ребенка и в те решения, от которых зависит его судьба, хотя порой это бывает очень нелегко!

Тридцатый сеанс

Матиас ездил в горы с другими детьми, и все прошло очень хорошо. Он снова не принес камень. Он красит в фиолетовый цвет окна грузовичка «мобил-хоум». В этом грузовичке происходит что-то таинственное: может быть, в нем едут его отец и мать? Матиас много рассуждает и в конце сеанса говорит: «Все, конец».

Я отвечаю, что согласна с ним: это действительно «конец». Курс лечения закончен. Теперь он уже вполне самостоятельно и без меня способен расти и развиваться как мальчик.

Я решила прекратить сеансы, поскольку он отказывается приносить свою символическую плату. А в таком случае это уже не анализ. Ему очень хочется, чтобы я его слушала, но в трансфере личностного общения, а это ведет к эротизации его отношений со мной, чего я никак не могу допустить. Матиас вступает в возраст, когда ребенок подвержен «Эдипову комплексу», и пусть это происходит у него с собственной матерью, а не со мной.

Я пишу записку его родителям, в которой прошу прийти ко мне, чтобы поговорить и попрощаться.

Тридцать первый сеанс

На этот последний разговор Матиас приезжает с отцом и матерью.

Он примостился на коленях у матери и будет то и дело обращаться к ней на протяжении всего сеанса. Я вижу, что он очень оживлен и в хорошей форме. Не могу сказать, что он полностью игнорирует меня, но ко мне он обратится только раз — чтобы попрощаться. Это подтверждает, что он нашел свое место в семье и научился «падать» со своими родителями (какими бы они ни были), сохраняя при этом свою физическую и психическую независимость.

Мать находит, что он «хорошо развился» и даже учит брата (как правильно говорить); впрочем, он все время говорит, правда, по телефону не любит говорить. Пока они будут присматривать для себя домик, он поживет в приемной семье (вопреки опасениям сотрудников социальных служб они вполне благожелательно отнеслись к их решению). Матиас очень хорошо ест, прямо сидит за столом, даже в ресторане. Когда он ездил в горы, он потом сказал: домик в горах — это для папы и мамы. Когда он приходит на выходные домой, он сразу начинает заниматься кошками. Когда черепаха вытягивает голову, он ее боится («я вот говорю: хоть у нее есть свой дом!») А старая сука съела кошку (!), но одну кошку в доме все-таки оставили. Теперь Матиас знает, кем он хочет стать: он станет доктором для кошек и собак!

Все это время Матиас играет с пластилином и лепит для матери «младенца», которого дает ей во время нашего разговора.

А мать продолжает:

— Даже когда он был еще у меня в животе, он уже знал, чего хочет. Он так много двигался, что я уставала. И акушерка посоветовала отцу: «А вы говорите с ним построже». И как только он слышал голос отца, он сразу замирал.

Матиас показал матери два одинаковых карандаша и говорит: «Одинаковые».

Отец говорит:

— Они все трое такие шумные. Когда они собираются все вместе, от них слишком много шума. Поэтому один раз

забираем Матиаса, в другой раз — его брата. Вот было бы хорошо, если бы вы посмотрели его брата, чтобы развить его, как Матиаса. Но мы вас с таким трудом нашли, не знаю, когда мы еще придем, мы ведь уже как-то потерялись...

Матиас показывает матери два синих фломастера:

«Смотри, оба синие, но не совсем одинаковые...», словно стараясь ей продемонстрировать, как хорошо он разбирается в таких сложных понятиях: карандаши — одинаковые, а два фломастера похожи, как два брата. И маленький мальчик — это не детеныш животного, а сын для матери — совсем не то же самое, что ее муж...

Матиас попал в ясли, когда ему был год и пять месяцев, а сейчас ему три года и два месяца, то есть прошло уже почти два года, как он живет в яслях.

Решение хотя бы частично изолировать Матиаса от его семьи и поселить в яслях не было идеальным, но социальные службы не смогли придумать ничего лучшего. К чести сотрудников яслей, они сумели разобраться в состоянии Матиаса и понять, что в основе его дыхательных и легочных заболеваний — психические страдания. Это и позволило Матиасу пройти у меня длительный курс сеансов.

Только человек способен вознамериться полностью видоизменить себя. И только человек, какого бы он ни был возраста, способен столь глубоко воспринимать свою семейную историю и обречь себя на такие страдания.

Чтобы утешить мать и добиться нежности, грудной Матиас пытается стать котенком, обрекая себя ради этого сначала на физические страдания, а затем и на психические, так как его мучительные старания стать котенком не увенчались успехом.

Поскольку в яслях отнеслись к Матиасу с пониманием, он смог пережить несколько этапов идентификации. Отказавшись от идеи стать котенком, он проникается совершенно противоположной идеей и начинает обращаться с животными, как с младенцами (одевать их в подгузники и т. д.): теперь уже он не хочет стать, как они, а животные должны походить на-него. А на следующем этапе он уже хочет стать «доктором для кошек и собак». Кого-кого, а уж докторов он повидал очень много! Эта профессия позволит Матиасу тесно общаться с животными, а значит — и с родителями и наделит его властью, о которой он, может быть, мечтал, у себя дома, в больнице или яслях. Вот как находят иногда свое призвание...

Его отношение к матери также очень изменилось. Оказавшись сыном мамы-кошки, он — чтобы завоевать ее любовь, безуспешно пытался соперничать с мамиными кошками. Это поражение могло бы его полностью разрушить, но этого не случилось. И как мы видели, наступит день, когда трехлетний Матиас подарит матери вылепленного им из пластилина «младенца», соперничая уже с отцом, которому трудно заставить уважать себя и плавное — не потеряться, но которому мать заставляла своего сына подчиняться еще в зародышевом состоянии, что бывает в семьях не так уж часто.

Матиас превосходно интегрировался в жизни и в своей семье, возможно, благодаря тому, что сумел разобраться в понятиях «такой же» и «не совсем такой же». Он понял, что правила могут изменяться в зависимости от контекста, так что скорее всего хорошо адаптируется в приемной семье — при условии, если с ним будут продолжать разговаривать о нем и его проблемах и помогут сохранить семейные связи.

Более чем двухлетнее пребывание Матиаса в яслях может показаться чрезмерно долгим. Но если учесть все обстоятельства: сохранение контактов мальчика с семьей, взвешенность и продуманность решений, которые принимались в отношении Матиаса, постоянное тяжелое материальное положение его родителей, которые все время тщетно надеются купить себе «домик»; атмосферу в этой семье, где трое сыновей не могут собраться одновременно, так как тут же начинают драться, — то придется признать, что длительное пребывание этого ребенка в яслях было для него спасительным.

Не скрывая свои промахи и ошибки, я хотела показать трудности аналитической практики. Теоретизировать о развитии подсознания или позиции аналитика, естественно, гораздо проще, чем заниматься практической работой.

Рассказывая о своем практическом опыте, я неизбежно должна была что-то опустить, а что-то излагать более подробно, но при этом я вовсе не старалась показывать себя только в выгодном свете. Точно так же, как психоаналитик не должен подменять родителей ребенка в реальной жизни, он не имеет права выдавать себя за мага и волшебника! Мне кажется, психоаналитик не должен стыдиться сказать ребенку и читателям, что он — не всемогущ. Сеансы, проводимые с детьми, бывают иногда очень эффективными и наглядными, потому что — на глазах — у присутствующих они помогают вывести ребенка из тупика, при этом задействуются все стороны его жизни: символическая, физическая, его семейные связи. Но никто не в состоянии предсказать, каким образом эти

дети смогут преодолеть испытания, которые ждут их в будущем.

ГЛАВА 4. МУКИ ОЖИДАНИЯ

*...Ведь ты, друг милый мой, имея отца — так пусть и сын то же скажет твой! Вильям Шекспир, Сонет 13.
(Перевод М.М. Чайковского)*

Если правда слишком горькая, ее выbleвывают. Жюльен Грин

Во Франции сто пятнадцать тысяч детей находятся в ведении служб социальной помощи. Из них сорок семь тысяч детей доверили этим службам сами родители. И шестьдесят восемь тысяч они воспитывают по решению суда.

20 % от общего количества детей, опекаемых социальными службами (то есть двадцать три тысячи), фактически покинуты своими родителями и отношения с ними почти полностью прерваны. Но только семь тысяч семьсот из них имеют юридическое право быть усыновленными, однако далеко не все они обретают приемных родителей.

Покинутые дети оказываются в трагической ситуации. И дело не только в том, что их помещают в дома ребенка или в ясли. Они способны перенести даже то, что их покинули, а после этого не усыновили (потому что усыновление — вовсе не единственное решение в данном случае), если только этим детям помогут пережить свалившиеся на них испытания.

Самое мучительное для таких детей — это неопределенность, которая разрушительным образом сказывается на их жизненной энергии, их статусе и судьбе.

Последствия подобного тягостного ожидания известны только тем людям, которые ежедневно общаются с этими детьми.

Всех дружно умиляет «радость обретения», которую испытывает ребенок, попадая в постоянную или временную приемную семью.

Но при этом необходимо оказывать самую безотлагательную терапевтическую и социальную помощь тем покинутым детям, которых отвергли родители и которые впадают в такое отчаяние, что «отвергают самих себя» и даже перестают расти, хотя и отваживаются еще тянуться к людям, несмотря на переполняющие их страх и разочарование.

Мне тоже понадобилось время, чтобы осознать пагубные результаты мучительного ожидания и неопределенности, на которые обрекают этих покинутых детей. Я слишком доверяла профессионалам, которые посылают детей ко мне на консультации, чтобы допускать, что Служба социальной помощи детям и судебные органы не стремятся всеми силами защищать права и интересы детей (как бы это ни показалось вам наивным). Не имея специального юридического образования, я уже в процессе работы должна была изучать законы, чтобы грамотно и доходчиво объяснять детям, что такое «отказ от ребенка», рождение под буквой «Х», семейный совет, полное усыновление, о чем говорится в статье 350 и т. д. Была еще одна причина, которая мешала мне внимательно следить за всеми юридическими процедурами. В то время как психотерапия, интерпретируя состояние ребенка, обязательно учитывает его *актуальную* жизнь (что иногда делаю и я), психоанализ, по моему мнению, никоим образом не опирается на реальность, а обращен к прошлому ребенка, как бы он ни был мал. Слушая сообщения нянечек, я вылавливала в них информацию, которая могла высветить что-то значительное в истории ребенка. Но одновременно я, конечно, «переживала» все процедурные проволочки *вместе с ребенком* — в той мере, в какой он выражал свои страдания. Психоаналитик не вмешивается в реальные отношения ребенка с его окружением, даже если семья или воспитательное учреждение пытаются оказать на него давление и вовлечь в свои взаимоотношения с детьми. Когда я работала с яслями Антони, это давление было минимальным, потому что там понимают функции психоаналитика.

Наиглавнейшая обязанность психоаналитика — *«принять сторону ребенка»*. А это исключает прямое вмешательство и контакты с представителями администрации.

Только поработав с детьми, я поняла, что нарушения, которыми они страдают, тесно связаны с неопределенностью их сегодняшнего положения и ближайшего будущего. Эта неопределенность внушает им надежду на то, что — несмотря ни на что — они снова вернутся к своим настоящим родителям, вместо того чтобы распрощаться с ними навсегда и готовиться к новой жизни. Занимаясь с детьми долгие месяцы, а то и годы, я вместе с ними переживаю состояние полной беспомощности перед нашими судами, их небрежностью и безразличием (или упрямой убежденностью, что — независимо от контекста — ребенку всегда будет лучше со

своими биологическими родителями) и убеждена, что это нельзя обходить молчанием, даже если в моей повседневной практике я стараюсь не выходить из своей роли. Если психоаналитик претендует на то, чтобы занимать определенное место в обществе, он должен выступать не от имени или вместо ребенка, а *на его стороне* предавать гласности те печальные результаты, к которым приводит неопределенное социальное положение его пациентов.

Мне представляется, что если я промолчу и не буду свидетельствовать в защиту ребенка, я стану соучастницей негодной практики. Когда родители отказываются от детей, это ужасно, но с этим ничего не поделаешь, и дети могут преодолеть этот разрыв, особенно если им помочь. Но нельзя мириться с медлительностью и небрежностью правосудия и прочих институтов.

Любая ошибка непростительна (ни в реальной жизни, ни в символической), если мы имеем дело с ребенком, особенно до шести лет, родившемся в стране, которая взяла на себя обязательства защищать его, в том числе и от его собственных родителей.

Я не знаю, нужно ли менять законы, защищающие права несовершеннолетних, но я уверена что *неукоснительное выполнение этих законов и исключение необоснованных отсрочек* при принятии решений самым благотворным образом скажутся на детях: дни, месяцы, а зачастую и годы по-разному воспринимаются взрослыми и детьми, которые живут в ожидании решения своей участи. Даже для детей одного возраста время протекает совершенно по-разному, если один из них живет в спокойной семейной обстановке, а другой существует лишь благодаря надежде завязать узы любви, чтобы не только выжить, и жить. Если ребенок не учится чему-то в положенное время, особенно если он не начинает своевременно говорить, отставание в развитии ребенка может оказаться уже необратимым. Даже когда условия его жизни вполне благополучны (он обеспечен всем необходимым и внимательным уходом), его неуверенность в своем завтрашнем дне мешает ему гармонично развиваться и порождает в нем страх, отчаяние, приступы бессильного гнева. Дети, которые воспитываются в приемных семьях или детских учреждениях, также могут развиваться вполне успешно, если только они знают, что останутся в них надолго. Боль, которую причиняет разрыв семейных уз еще до того, как они упрочились, травмирует этих детей на всю жизнь.

Для того, чтобы несовершеннолетний ребенок получил право быть усыновленным, требуется: чтобы его родители или семейный совет дали согласие на его усыновление; или чтобы он стал воспитанником государства; или чтобы он получил статус покинутого ребенка (статья 350 Гражданского кодекса), если его родители не проявляют к нему никакого интереса в течение года. «Родители, которые не поддерживали необходимых отношений с ребенком ради сохранения семейных связей, признаются незаинтересованными в своем ребенке», — гласит знаменитая статья 350. То есть изредка посылаемая ребенку почтовая открытка, денежный перевод или нерегулярные телефонные звонки недостаточны «для сохранения семейных связей». Законодатели идут еще дальше: «Словесного отказа родителей дать разрешение на усыновление их ребенка или ничем не подтвержденного намерения снова забрать ребенка в семью недостаточно для отклонения ходатайства о признании ребенка покинутым».

В настоящее время дети, родившиеся под буквой «X», должны ждать три месяца, чтобы перейти под полную опеку государства и получить право быть усыновленными приемными родителями. По мнению законодателей, такой срок дает возможность родителям, отказавшимся от ребенка, изменить свое первоначальное решение, особенно если оно принималось под давлением.

В этом конкретном случае речь идет, на мой взгляд, не об «отказе» от ребенка в юридическом смысле слова: женщинам предоставляется право рожать детей анонимно, и эта анонимность распространяется и на их детей. Можно ли в этой ситуации желать, чтобы родители отказались от первоначального решения и признали ребенка? Можно ли считать такое важное решение окончательным сразу же после того, как оно было заявлено?

По своему опыту я знаю, что даже в тех случаях, когда мать после трехмесячных размышлений все-таки признавала ребенка, она все равно не могла его растить и в конце концов отказывалась от него. Но эта проблема требует, естественно, глубокого изучения.

Катрин Бонне, автор книги «Дар любви. Роды под буквой «X»» взяла на себя смелость разыскать, выслушать и записать исповеди женщин, рожающих своих детей анонимно. Относясь с сочувствием к этим женщинам, Катрин Бонне тем не менее требует, чтобы их дети сразу же после появления на свет получали право быть усыновленными приемными родителями. У каждой из этих женщин — свои драматические причины скрывать сам факт рождения ребенка. Они знают, что не смогут его воспитать, не подвергая его жизнь опасности. И для них было бы гораздо лучше и спокойнее знать, что их ребенок сразу после рождения попадает в хорошую приемную семью.

Но даже самые благие пожелания этих женщин должны рассматриваться с точки зрения интересов ребенка.

Отвечают ли их пожелания этим интересам? Если признать, что дома ребенка, ясли и социальные службы лишь временно заботятся о ребенке — в ожидании его усыновления приемными родителями, то тогда для ребенка гораздо лучше сразу же после появления на свет обрести приемную семью.

Однако и в этом случае и в яслях, и в приемных семьях новорожденному следует объяснить, в каких условиях он родился, каков его статус и что его мать — ради его будущего — пожелала, чтобы его воспитала другая семья (ведь анонимность распространяется лишь на его идентичность). Так и делается в тех детских учреждениях, где к этой проблеме относятся с тонким пониманием.

Любящие и понимающие приемные родители не должны скрывать, что ребенок разлучен с родной матерью. И даже если они благодарны этим женщинам за то, что получили возможность усыновить их ребенка, сам ребенок должен знать, что у него были настоящие, биологические родители, с которыми он распрощался навсегда.

Разве для ребенка не было бы лучше, если бы это неизбежное прощание происходило в момент фактического расставания с матерью — при условии, что ребенку сразу же обеспечат замечательный уход и выразят словами все то, что он чувствует и переживает? А главное, заверят, что хотя он больше не увидит родившую его мать, его ждет приемная семья.

На примере Флер, Зое, Оливье и других детей вы видели, что переходный период, во время которого ребенок готовится к долгожданной встрече с приемными родителями, может оказывать свое терапевтическое воздействие.

Если спустя три месяца и один день ребенок, которому был обеспечен наилучший уход, переходит жить к приемным родителям, с ним будет все в порядке.

Но если ребенку так не повезло, что трехмесячный срок, данный на раздумья его биологическим родителям, истекает в июле, а семейный совет соберется только в сентябре (ничего не поделаешь: каникулы!) — ожидание его продлится целых шесть месяцев! А может случиться — у семейного совета, избираемого на три года, истекает мандат, и вновь избранному совету понадобится время, чтобы «войти в курс дела». А если ребенок легко или серьезно болен, то будут дожидаться его полного выздоровления, хотя его болезнь в данном случае — лишь признак того, что он исчерпал свои силы и — для выздоровления — нуждается в стабильных семейных узах.

Служба социальной помощи детям — не магазин игрушек, где на выбор предлагаются только красивые, белокожие и здоровые новорожденные! Есть ведь еще и ВИЧ-инфицированные новорожденные, чьи анализы со временем становятся отрицательными.

На мой взгляд, имея дело с такими детьми, семейные советы (видимо, из-за недостаточной осведомленности) занимают еще более осторожную и выжидательную позицию, чем специалисты, хотя приемные семьи в таких случаях обязательно информируются.

Учреждения, стоящие на страже прав ребенка, должны первыми неукоснительно выполнять свои обязательства, особенно при соблюдении сроков, определенных для вынесения судьбоносных для ребенка решений. И я очень сожалею, что Всемирная Декларация прав ребенка ничего не говорит по этому поводу.

Для детей, которые поначалу официально признаны, последующие колебания и неспособность их родителей принять решение — давать или не давать согласие на усыновление их ребенка приемной семьей — оборачиваются месяцами, а то и годами мучительного ожидания. Для детей, и без того уже травмированных пусть даже не узаконенной, но фактической разлукой с родителями и ощущением своей покинутости.

И хотя закон предоставляет таким родителям год (как максимальный срок) на размышления, судьбу ребенка решают с такими проволочками, что на деле большая часть усыновляемых детей — старше двенадцати лет, в то время как 60 % из них поступили в детские учреждения, не достигнув и трех лет!

Что же происходит с такими детьми во время этого бесконечного и мучительного ожидания? Как сказывается оно на их психике и развитии?

Об этом я расскажу вам в двух следующих историях. Речь в них идет о реальных детях, с которыми мне довелось работать.

АНЖЕЛА И СЕМЬ КАШТАНОВ

Анжела — законное дитя двадцатилетних супругов-иностранцев. Она родилась в предместье Парижа. Когда поступила в ясли, ей было тринадцать месяцев.

Как можно понять, мать Анжелы — при выходе из роддома — оказалась в полном одиночестве, без мужа и даже без документов. Ее приютила подруга, проживавшая в самовольно занятой квартире.

Через девять месяцев после рождения Анжелы эта так называемая подруга сама приходит в социальную службу и передает Анжелу под ее опеку, утверждая, что мать Анжелы выслали из Франции, когда девочке было два месяца. Уезжая, она поручила ребенка подруге. После этого «подруга» ни разу не явилась на назначенные ей встречи — словом, бесследно исчезла.

Три месяца спустя (Анжеле уже год) в социальную службу заявляется еще одна «подруга» и уверяет, что первая подруга поручила ей заниматься Анжелой. Она говорит также, что знает отца Анжелы, который живет где-то под Парижем.

Социальная служба обращается в суд по делам несовершеннолетних. И через месяц судья официально предписывает поместить Анжелу временно в ясли: ее родители не объявляются, а «подруга» выселена из квартиры, которую она самовольно занимала.

И вот в возрасте тринадцати месяцев Анжела поступает в ясли. Своего отца она никогда не видела, а с матерью рассталась, когда ей было всего два месяца. Можно сказать, что физически она здорова. Но при этом она не способна передвигаться, не умеет держать бутылочку с питанием, брать предметы в руки, совсем не умеет играть.

Через две недели после поступления в ясли физическое состояние девочки резко ухудшается (диарея, рвота, потеря веса). Это продолжается три недели, после чего девочка постепенно восстанавливает утраченное здоровье и вес, но совершенно не понимает, что с ней происходит.

«Подруга» приходит навестить девочку, но не может с ней повидаться. Случилось так, что в это же время к маленькой соседке Анжелы пришла мама, и вот какую реакцию это вызвало у Анжелы: она наделала под себя, вся «закрылась», начала рыдать — и будет плакать затем несколько дней.

Юридическая машина той порой запущена. Полиции поручено разыскать родителей Анжелы. Только через восемь месяцев социальной службе сообщили, что не нашли никаких официальных подтверждений того, что мать Анжелы была выслана из Франции. Что касается ее отца, то у него были проблемы с французским правосудием, но поскольку он попал под амнистию, полиция потеряла его следы..

Ни отец, ни мать не проявляли ни малейшего интереса к своему ребенку. По закону их дочь должна быть официально объявлена «покинутой» — чтобы получить право быть удочеренной приемными родителями. Но социальная служба добивается за чем-то учреждения государственной опеки над Анжелой, а в этом случае она не может немедленно обрести приемную семью и снова должна чего-то ждать. Но чего?..

Анжеле исполнилось уже два года и два месяца, когда Супрефектура сообщила социальной службе, что ее мать не высылалась из Франции, а сама добровольно отбыла на родину. Начались новые поиски матери, которые опять оказались безуспешными.

Бесконечное ожидание, в котором жила Анжела, длилось еще больше двух лет. И когда, наконец — после многочисленных отсрочек — было принято решение, по которому Анжела признавалась покинутым ребенком и получала право обрести приемных родителей, ей было уже *четыре с половиной года!*

В ясли Анжела поступила в возрасте *тринадцати месяцев*. К тому времени уже *одиннадцать месяцев* она жила брошенной родителями. И понадобилось еще *три года*, чтобы принять, наконец, решение, определившее судьбу этой девочки.

Впервые я увидела Анжелу, когда ей было три года. Меня попросили заняться ею, поскольку в свои три года она знала всего несколько слов и совсем не умела строить предложения.

Когда я с ней встретилась, ходатайство о признании ее «покинутой» уже находилось на рассмотрении, поэтому я сказала Анжеле, что скорее всего она никогда больше не увидит своих биологических родителей. И родители у нее будут — приемные. Я объяснила ей разницу между временной приемной семьей, в которой она проводит каникулы (Анжеле очень хотелось, чтобы эта семья ее и удочерила — она потом мне об этом скажет) и будущей приемной семьей, с которой она познакомится, как только семейный совет подыщет ей такую семью.

Два месяца спустя — после летних каникул, которые Анжела провела в своей временной приемной семье, она

разговаривала уже гораздо лучше: выражала свои мысли с помощью коротких фраз, охотно повторяла услышанные от взрослых выражения и подражала нянечкам, ухаживающим за младенцами.

Придя ко мне после каникул, она первым делом разрезала ножницами соску от бутылочки и начала заполнять ее заранее заготовленными кусочками пластилина. На меня она не обращала никакого внимания.

Как раз в эту пору одна из подружек Анжелы по яслям обрела приемных родителей, которые дали ей новое имя. С этого дня Анжела стала называть всех маленьких девочек только по имени, которое дали родители ее подружке.

Нужно признать, что Анжела по сути самостоятельно вела свой собственный психоанализ. Разговорила она только к концу курса.

Уже на втором занятии я попросила ее приносить мне камушек — как символическую плату за сеансы. И «камень» был одним из первых слов, которые она научилась произносить.

Она никогда не забывала принести свой камушек. Но понадобилось несколько сеансов, чтобы убедить ее расстаться с ним. Так важно было для нее открытие, что ей может что-то принадлежать. Но раз уж приходилось расставаться с этим камушком, она сама укладывала его в мой ящик, а потом без конца проверяла, лежит ли он на месте.

Анжела по собственному усмотрению направляла свои сеансы. А я лишь изредка вмешивалась, чтобы сообщить ей, как я ее понимаю. Она соглашалась с моими пояснениями.

Мне казалось, что она оживляет свое прошлое и еще дюжельную жизнь. В этом ее прошлом на тесном, замкнутом пространстве мелькало много разных людей и было очень много расставаний. Она сама демонстрировала передо мной эволюцию своего физического развития, вплоть до проснувшегося в ней сейчас любопытства к особенностям своего пола.

Сеанс за сеансом, из отдельных эпизодов, я восстанавливала историю ее семьи, объясняла ей ее юридический статус. Я старалась быть предельно понятной, опиралась только на факты и не допустила ни малейшей критики ни в адрес ее родителей, ни «подруг» ее матери, ни самой социальной службы, наконец.

Она осознала цвет своей кожи и поначалу сочла себя «некрасивой»: она пыталась понять, почему — вопреки всем ее надеждам — ее так и не удочерила семья, в которой она проводила каникулы. Убедившись, что эта семья не станет для нее приемной, она порвала альбом с фотографиями этих людей.

Затем Анжела решила, что она «красивая». Она вообразила, что где-то живут ее чернокожий папа и белокурая мама. Но они не знают, как она их заждалась.

Когда для нее нашли, наконец, приемную семью, она стала очень словоохотливой и делилась со мной своими тревогами: должна ли она, придя в свою новую семью, снова стать грудным «младенцем» или может оставаться такой, какая она есть; должна ли она полностью забыть свое прошлое или нет.

Она попросила сделать ей очень короткую стрижку. И во время следующего сеанса нарисовала сначала «безымянного человечка», а потом папу, который «дает ему имя».

Все долгие месяцы ожидания Анжела пыталась рисовать «маму». Что-то у нее не получалось, и она рисовала «маму» снова и снова. А еще она рисовала какие-то незаконченные домики. И странные человеческие фигурки — не успев нарисовать, она разрезала их пополам.

За несколько минут до первой встречи с приемными родителями (ей было тогда уже четыре с половиной года) Анжела «не выдержала» и зарыдала от волнения. Но встреча все-таки состоялась и прошла вполне благополучно.

Придя на прощальный сеанс, Анжела принесла мне привычный уже камушек и еще семь каштанов. Она сама их старательно пересчитала и сказала: «девять». Я спросила ее: «У твоих приемных родителей кожа каштанового цвета?» И она ответила «да», хотя позже я узнала, что ее удочерила белокожая семья.

Мой вопрос был, конечно, не очень уместным. Но я долго старалась понять, что означают эти ее семь красивых каштанов, увенчанных белыми шапочками.

Быть может, это был просто ее прощальный подарок. А может, укладывая в мой ящик камушек с каштанами и прощаясь со мной, Анжела прощалась и со своим прошлым, которое анализировала вместе со мной? Прощалась она и с многочисленными временными матерями, коричневыми и белокожими, которые помогли ей восстановить свою личность.

ЛЕА. ЖАЖДА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

Леа — самая младшая в семье. Ее старший брат живет с родителями, а сестра — в специнтернате. И брат, и сестра Леа находятся под наблюдением воспитательных учреждений.

Их отец работает, а мать — нет. Она алкоголичка, страдающая депрессией. Ее уже не раз помещали в психиатрическую лечебницу.

Будучи беременной Леа, мать вообще не обращалась к врачам. При рождении Леа весила всего 1980 граммов, что совсем немного. Сразу после рождения Леа на три недели была помещена в больницу. Мать Леа вышла из роддома через шесть дней после родов. Две недели спустя она навестила дочку в больнице, но в день ее выписки за Леа никто не приехал.

Больница обратилась к судье по делам несовершеннолетних, который распорядился временно поместить ребенка в ясли, куда Леа прибыла в возрасте пяти недель.

Родителей оповестили о том, где находится их дочь. Но они никак на это не отреагировали.

Три недели спустя социальная служба поехала к родителям. Дома застали одну мать, которая отказалась признавать свою дочь.

Она сделала и другие необходимые в данном случае заявления. Хотя по закону даже признание ребенка вовсе не означает, что родители проявляют и ему должный интерес. Впоследствии ни отец, ни мать ни разу не придут в социальную службу, куда их будут неоднократно приглашать. И ни разу не навелят свою дочь в яслях. В конце концов представители социальной службы, которым родители Леа отказывались открывать дверь, дважды попросту надавливали ее посильнее и входили в их квартиру, чтобы выяснить с ними все вопросы. Мать каждый раз говорила: «Раз взяли, то и оставляйте ее себе». Она не желала видеть свою дочь и говорить с ней, «чтобы не страдать». По ее словам, ей уже тяжело досталось помещение в интернат старшей дочери.

Когда Леа исполняется четыре с половиной месяца, судья по делам несовершеннолетних вызывает мать Леа, но та снова отказывается даже говорить о своей дочке. Судья, тем не менее, испрашивает ее согласие на то, чтобы Леа удочерили приемные родители, и ее мать готова дать его немедленно, но для этого требуется также согласие и присутствие отца.

Сотрудница социальной службы пытается добиться свидания с обоими родителями, но ей понадобится четыре месяца, чтобы застать, наконец, родителей дома. Мать снова заявит, что не желает даже слышать о Леа, от которой она отказалась еще до родов. А отец скажет, что сомневается в своем отцовстве.

Затем отец является в службу социальной помощи, где говорит, что хочет видеть дочь и категорически возражает против удочерения Леа приемными родителями, ссылаясь на то, что не получал никаких уведомлений и даже не знал, что его дочь помещена в ясли. И он пригрозил жене, что бросит ее, если она не заберет Леа домой. Больше этого отца никто не видел.

Леа исполнилось десять месяцев, и сотрудники яслей обращаются ко мне за консультацией, так как девочка развивается каким-то странным «циклическим» образом. На протяжении нескольких недель она — живая и динамичная, а затем становится грустной, некоммуникабельной, и у нее часто случается рвота.

Когда Леа было еще семь месяцев, сотрудницы социальной службы и воспитательница рассказали ей, что им никак не удастся встретиться с ее родителями, чтобы выяснить их намерения. Леа очень тяжело перенесла этот разговор. Как только речь зашла о ее родителях, она горько зарыдала и плакала все время, пока с ней говорили. После этого она успокоилась с большим трудом и еще несколько дней оставалась подавленной, часто требовала к себе нянечек и явно жаждала, чтобы ее утешили, что они и делали. Как ни относительно такое утешение для брошенного ребенка, тем не менее оно помогло Леа, и спустя несколько дней она отказалась от рожка и начала есть с помощью ложки. Она вновь повеселела и стала более активной. Ясельный персонал понял, что Леа хочет расти и развиваться.

Проходит месяц, и девочка снова впадает в депрессию: не желает садиться, отказывается от еды и, засовывая пальцы в горло, провоцирует рвоту.

Сеансы идут уже три месяца, но почти каждая еда вызывает у Леа такую же реакцию.

Девочке исполняется год и один месяц, а ее родители так и не объявляются.

Положенный им на раздумья год истек и ходатайство о признании Леа покинутым ребенком уже подано. А это значит, что Леа сможет обрести приемных родителей. Все это я долго рассказываю Леа, которая слушает меня очень внимательно.

После этого разговора она начинает стремительно развиваться: она гораздо лучше двигается, учится стоять и ходить в манеже. Играя с детьми, она меняется с ними игрушками. Она начинает говорить и ловко снимает и надевает колпачок на фломастер.

Спустя еще три месяца Леа исполняется год и четыре месяца, а ее родители по-прежнему не дают о себе знать. Этот день Леа избрала, чтобы начать самостоятельно ходить.

Девочке уже полтора года, а суд все еще не вынес решения по поводу ее статуса.

Через два месяца я узнаю, что судья вновь откладывает решение на месяц, так как нет никакой информации о родителях Леа. Девочка становится агрессивной, дерется с другими детьми и старается поранить себя.

Месяц спустя судья вызывает обоих родителей (неужто все еще надеюсь, что Леа вернется в родную семью?). Приходит только отец. И возражает против удочерения Леа приемными родителями: он уверяет, что консультировался с социальной службой и адвокатом. В запасе у него — еще два месяца, чтобы подать апелляцию. Он ни разу не видел дочку и не придет к ней даже после этих громогласных заявлений. Леа рассказали об этом разговоре.

Проходят еще три месяца. Отец не подал апелляции. В социальной службе он не был, и адвокат, на которого он ссылался, также не появился.

Леа очень неохотно признает какие-либо запреты, часто бывает неуправляемой и ее трудно вывести из этого состояния. Но одновременно она стала проситься в туалет и с каждым днем все лучше и лучше говорит.

Когда Леа исполняется два года и два месяца, на очередном судебном заседании принимают решение... дать родителям Леа еще два месяца на раздумья. После того, как Леа сообщает об этом решении, она будет плакать целую неделю подряд.

Спустя два месяца из ясель увольняется любимая нянечка Леа. И девочка начинает кусать других детей.

Леа уже два года и пять месяцев, когда — после *пятнадцати месяцев ожидания* — суд, наконец, удовлетворяет ходатайство о признании девочки покинутой ее родителями. Отцу дают еще два месяца для обжалования этого решения.

Проходят и эти два месяца, но отца не видно и не слышно. А Леа неоднократно пытается броситься вниз с лестницы, чтобы убиться, и каждый раз она сильно ушибается. Это самые настоящие попытки самоубийства. Во время сеанса она нарочно падает со стула, снова ушибается и говорит мне, что хочет умереть. Чтобы избавиться от страданий?

Я могу, наконец, ей сказать, что она скорее всего уже никогда не увидит своих настоящих родителей и что она признана покинутым ребенком. Леа берет свое досье и разрезает ножницами первый лист — так, что ее имя, написанное на этом листе, оказывается разрезанным пополам.

Судья ждет еще месяц и только тогда составляет акт о том, что отец Леа не подал апелляции. Теперь вопрос об удочерении Леа будет рассматриваться на ближайшем семейном совете.

Во время сеансов мы обсуждаем с Леа ее разрыв и прощание с настоящими родителями и перспективу обрести приемную семью. Ее волнует и такой вопрос: придется ли ей менять свое имя?

Семейный совет соберется только через три месяца. А той порой отец Леа вдруг заявляется к инспектору социальной службы, чтобы справиться о дочке и выяснить, сможет ли он с ней видиться, когда она будет жить в приемной семье (хотя закон запрещает биологическим родителям добиваться свиданий с ребенком, усыновленным приемными родителями).

Во время сеансов Леа непрерывно чертит длинные линии на бумаге (может быть, старается перечеркнуть свое прошлое?). Она меняется со мной фломастером и, взяв фломастер, которым я делаю записи в ее досье, продолжает

чертить все те же линии. С помощью этих прямых линий, которые неожиданно обрываются, Леа пишет историю своей жизни.

После состоявшегося, наконец, заседания семейного совета, девочке подыскивают приемную семью.

Меня предупреждают, что я могу поговорить с Леа о ее будущих родителях. Сегодня у нас с ней — прощальный сеанс. Леа невозмутимо чертит свои перекрещивающиеся между собой линии. Попрощавшись, она говорит: «Смотри!» И показывает, как ловко она слезает со стула и при этом вовсе не падает. Затем она тянет меня за дверь и демонстрирует, как быстро спускается по лестнице, не падая и не держась за перила. Спустившись вниз, она поворачивается ко мне, весело хохочет и убегает.

Леа удочерили только в три года. С трехнедельного возраста она ни разу не видела своих родителей. Девочке было еще четыре месяца, когда мать заявила судье, что отказывается от дочки и дает согласие на ее удочерение. И своей позиции она уже не меняла, а лишь подтверждала ее снова и снова. И если даже отец на словах возражал против удочерения Леа приемной семьей, он ничего не сделал, чтобы на деле подтвердить свои заявления.

Чьи же интересы защищали суд и социальные службы, когда всеми силами старались вернуть Леа таким родителям? Только не интересы девочки и даже не ее родителей.

По вполне понятным причинам я не встречалась с родителями, которые отказывались от своих детей. Вероятно, на этот шаг их толкают тяжелые обстоятельства. Я согласна с тем, что суд и социальные службы должны сделать все, чтобы убедиться: способны они воспитывать ребенка или нет? Но когда бывает совершенно очевидно, что биологические родители попросту устраняются от исполнения своих обязанностей и уже не изменят своей позиции, даже если уверяют обратное, как отец Леа, нужно срочно давать ребенку официальный статус, чтобы он мог дальше строить свою жизнь. Сроки, необходимые, чтобы узаконить отказ родителей от ребенка, кажутся бесконечными самому ребенку, особенно если он еще не достиг четырех лет. И не стоит обманываться: даже самые лучшие детские учреждения с самым внимательным персоналом (хотя и не все они отличаются одинаково высоким уровнем) являются лишь местом временного убежища для ребенка, покинутого родителями, и не могут вселить в него чувство полной безопасности и уверенности в своем будущем. Чем дольше длится это состояние неопределенности, тем тяжелее последствия. С одной стороны, первые шесть лет жизни ребенка «не считаются», а с другой стороны — ничто и никогда не проходит бесследно.

ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ... А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Рассказав вам о том, как пагубно отражается на ребенке недопустимая медлительность при вынесении юридических решений о признании ребенка покинутым, я хотела бы затронуть еще одну, не менее важную проблему, которую, напротив, решают с молниеносной быстротой: я имею в виду лишение родительских прав.

Я хочу поговорить с вами об этой проблеме по двум причинам.

Во-первых, среди моих пациентов есть дети и взрослые, чьи родители были лишены родительских прав. И я вижу, какое воздействие оказывает эта мера на детей.

Во-вторых, некоторые ассоциации, борющиеся за скорейшее усыновление французских детей, добиваются от властей, чтобы те гораздо чаще применяли эту крайнюю меру — в надежде, что тогда дети, родившиеся на земле Франции, получат возможность как можно скорее обрести приемных родителей.

На первый взгляд, все выглядит очень просто: в то время как столько некудышных родителей очень плохо воспитывают своих детей, есть немало замечательных семей, которые мечтают заполучить ребенка!

Кто же они, эти родители, которых лишают родительских прав? Ясно, что это не примерные папы и мамы, обожающие своих детей. Родительских прав могут быть лишены отец и мать, приговоренные к тюремному заключению за преступление или за соучастие в преступлении против личности их ребенка;

а также за участие или соучастие в преступлении, совершенном их ребенком. Родительских прав могут быть лишены родители, плохо обращающиеся со своим ребенком или оказывающие на него пагубное влияние вследствие своего пьянства, недостойного поведения, нарушения общепринятых норм и совершенных ими правонарушений, не способные обеспечить ребенку должный уход, защиту его безопасности, здоровья и нравственности. В случае, если ребенок помещен в детское учреждение, а родители более двух лет не пользуются

предоставленными им законом правами и обязанностями по отношению к своему ребенку, они также могут быть лишены родительских прав.

Как показывает практика, решение о лишении родительских прав принимается без всякого обсуждения. Когда длительный и мучительный судебный процесс, наконец завершается, то сразу же после вынесения приговора суд, чтобы покончить с этим делом, тут же решает вопрос и о лишении родительских прав.

Отец и мать Мелины, о которой я рассказывала в этой книге, были лишены родительских прав в день вынесения приговора.

Но, как вы помните, родительских прав не были лишены мать Алексиса, задушившая собственную дочь и признанная невменяемой, и отец Луи, убивший свою жену...

Как отражается лишение родительских прав на детях, а впоследствии на их собственных детях и внуках, я могу судить по пациентам, с которыми мне доводится работать.

Необходимо осознать, что в результате этой меры наказываются не только родители. Это они, их дети — наказываются в первую очередь: их грубо и навсегда разлучают с родителями. И это они, дети, сразу же оказываются заключенными в тюрьму (где бы они ни жили): их навсегда лишают права видеть родителей и даже писать им, как и получать от них письма. И у ребенка почти немедленно возникает мучительное чувство вины: что же он такое сделал, что его родители даже не могут теперь с ним видеться? Вопрос, который, естественно, остается без ответа. Но он мучает человека всю жизнь и особенно, когда приходит время самому стать отцом или матерью.

Итак, ребенок узнает, что его родители не имеют на него никаких прав. Почему? За что? Если сам ребенок не виноват, значит это они совершили такое тяжкое преступление, что общество объявляет их недостойными быть родителями, то есть недостойными зачать и произвести на свет его — их ребенка. Что бы ни совершили такие родители, их ребенок может построить свою личность только при условии, что будет продолжать гордиться тем, что ему дали жизнь. Но можно ли чувствовать себя иначе, чем отбросом общества, если ты — сын или дочь родителей, которых общество считает даже недостойными зачать ребенка? В дальнейшем уже никто (ни временная, ни постоянная приемная семья) не смогут излечить ребенка от этой символической раны. Такие раны никогда не заживают. Как тайная боль, они передаются из поколения в поколение. И никогда и никому не идут на благо.

Стремясь защитить ребенка от плохих родителей и лишая его родительских прав, законодатель невольно манипулирует важнейшими символическими знаками. Судебная машина наказывает за действия, нарушающие закон, но общество, по счастью, не предоставляло правосудию право заявлять преступившим закон родителям, что они никогда не увидят своего ребенка, потому что отныне их объявляют недостойными зачать собственное дитя.

В этом заключается страшная двойственность этого закона, потому что он затрагивает самые глубины человеческого существа.

И если никто из нас не имеет права игнорировать закон, не вправе ли мы просить законодателя не игнорировать последствия, которыми чреват этот закон?

КОШКА НЕ ПЕРЕБЕГАЕТ ДОРОГУ!

Каждый человек хочет это знать. Аристотель

У меня вызвал глубокое отвращение фильм «Медведь». Не потому, что я равнодушна к животным. Мне было неловко его смотреть, словно мне показывали что-то непристойное, потому что создатели фильма интерпретируют поведение животных, наделяя их человеческими свойствами, чтобы вызвать у зрителя слезы умиления.

Хотя этологи двадцатого века (наиболее известные из них — Конрад Лоренц и Десмонд Моррис) уже объяснили нам, что каждый вид животных придает свой смысл окружающему миру. Результаты их исследований потрясают, потому что открывают нам мир, совершенно *отличный* от нашего.

Смысл подобного открытия лучше всех выразил Джордж Кангилем, заметив: «*Кошка не перебегает дорогу*».

Многие столетия взрослые были уверены, что пока ребенок не говорит, он не способен испытывать чувства и

обладает лишь ограниченными возможностями, чтобы выражать свои элементарные потребности. Наличие таких возможностей допускали и у животных — пока Чарльз Дарвин не очеловечил животное. При этом Дарвин установил разницу лишь в уровне развития животного и человека, но не в их умственных способностях.

Когда дети учатся говорить, взрослые недооценивают их способность воспринимать и понимать происходящее.

Какому психоаналитику не встречались родители, которые рассказывают свои горестные семейные истории в присутствии ребенка, иногда старше шести лет, утверждая, что он все равно ничего не знает и не понимает?

Однако это совсем не так, и ребенок на самом деле понимает гораздо больше, чем предполагают взрослые. «Как же это возможно?» — спросите вы меня.

Даже если вы сами не занимаетесь психоанализом, вы поймете, почему я не смогу прямо и исчерпывающе ответить на этот вопрос.

Но не случайно, что именно психоаналитики утверждают, что человеческое существо с момента своего рождения воспринимает смысл человеческого языка.

Если рассматривать ребенка как субъект, который сначала существует, а потом уже реагирует, и как человеческое существо, возникшее еще до своего появления на свет, а не как незрелого детеныша животного, психоанализ позволяет вопрос: «как он может понимать?» перевести в вопрос: «как и почему мы столь долго могли воображать, что он ничего не понимает?»

О том, каким образом происходит у ребенка процесс понимания и, напротив, детская амнезия, мы пока мало что знаем. Но благодаря теории и практике психоанализа взрослых и детей у нас уже есть некоторое представление о психической деятельности новорожденных.

Как только ребенок появляется на свет, он сразу же подает голос, обретает имя и слышит человеческую речь.

Благодаря этому он становится частью общества и у него начинается символическая деятельность.

Символическая деятельность ребенка, который еще не говорит, выражается языком изначально ему присущих физиологических функций. Это — дыхание, пищеварение, иммунные функции, сенсорное восприятие и т. д.

Ребенок способен подчиняться языку, а его тело способно выражать нечто большее, чем биологические процессы.

И когда дисфункциям, которыми страдает ребенок, мы придаем символический смысл, то есть словами объясняем причины этих дисфункций (что не исключает медицинского лечения, если оно необходимо), при этом даже не очень хорошо зная, к какому уровню психики мы обращаемся, результаты потрясают самих аналитиков: дисфункции исчезают, словно язык является таким «организатором», который способен все расставить по местам, изменить и привести в равновесие биологическое тело и психику.

Но даже среди тех, кто допускает, что ребенок понимает, когда ему говорят о его происхождении или объясняют причину пережитых им разрывов, некоторые задаются вопросом: "Нужно ли говорить ребенку все?" Потому что даже признавая способность ребенка все понимать, исходят из того, что его необходимо щадить, намеренно обрекая на неведение, как будто сам ребенок — если бы его «не щадили» — отказался бы узнать о себе правду!

Ведь для того, чтобы отказаться от правды или забыть ее, сначала нужно ее узнать.

Когда подросткам или взрослым случается пережить «внезапное озарение», касающееся их собственного происхождения, или прошлого их родителей, или более дальних предков (а бывает, что просто в процессе психоанализа человек начинает вдруг задавать неожиданные вопросы своим родителям), то замечено, что после того как что-то прозвучало, то есть было *названо словами*, вслед за первоначальным шоком, человек принимается вспоминать совершенно забытые им обрывки разговоров, врезавшиеся в подсознание, но не получившие объяснения установки, болезненные симптомы, неосознанно принятые важные решения.

Все это — потерявшиеся части головоломки, которую невозможно разгадать без этих, возможно, самых главных элементов.

И в наши дни часто можно услышать, что дети «знают все», но «не понимают ничего».

С этим не придется спорить, если ребенку «не называть» того, что он способен воспринять и записать в свой «актив», а не в «пассив», как полагали долгое время.

В этом заключается основное отличие человеческого младенца от детеныша животного: животное воспринимает мир *без помощи языка*, а для человеческого существа это невозможно.

Лакан говорил: «Психоанализ — это обозначение того, что понимаешь, стараясь понять неясное, и то, что становится неясным в процессе понимания из-за того, что материальная форма знака задевает какую-то точку в теле».

Но не нужно думать, что человеку, пережившему потрясения, которые принято квалифицировать как «физико-химические», можно с помощью слова помочь трансформировать эти телесные пертурбации в психический опыт.

Все дети, а не только воспитанники социальных служб, раньше или позже, сталкиваются со страданиями, несправедливостью, болезнями, смертью близких, и психоанализ не может их от этого уберечь. Как нельзя уберечь от жизни, со всеми ее проблемами и потрясениями.

Но психоанализ, с помощью аналитика, способен помочь ребенку восстановить чувства, пережитые им во время какого-то драматического события или связанные с каким-то важным для него решением, важным для его судьбы, а затем помочь ребенку самому преодолеть пережитое им и превратить свои горести в *воспоминание* об уже завершившемся *прошлом*. Вот в каком процессе помогает психоаналитик ребенку.

Чтобы заниматься психоанализом с малышами, нужно рассматривать каждого ребенка как полноправное человеческое существо, жаждущее автономии задолго до того, как оно в реальности сможет обрести свою автономию.

При этом неумение говорить и детскую неопытность нельзя воспринимать как неспособность понять.

Неся слово (в прямом и переносном смысле), психоаналитик служит проводником символической функции, без которой человеческая жизнь была бы невозможна.

notes

Примечания

1

Речь идет об учреждении для детей-сирот; детей, имеющих родителей, но временно помещаемых в ясли; детей, чьи родители лишены родительских прав. (*Прим. изд-ва*)

2

Франсуаза Дольто (1908–1988) — известный французский психоаналитик, представительница Парижской школы фрейдизма, автор многочисленных трудов по психоанализу. На русский язык переведены ее книги «На стороне ребенка» и «На стороне подростка». «XXI век», Санкт-Петербург и «Аграф», Москва. (*Прим. изд-ва*)

3

Существует два вида яслей. Первые носят больничный характер, в которых содержат детей до трех лет и обеспечивают им необходимый медицинский уход, который невозможно обеспечить в домашних условиях.

И есть ясли, выполняющие социальную функцию и предназначенные для детей, которые не могут оставаться в семье, но по каким-либо причинам не могут быть усыновлены приемными родителями. В книге пойдет речь о второй категории яслей. (*Прим. автора*)

4

Статья № 47 Семейного кодекса и социальной помощи предоставляет право каждой женщине рожать анонимно, чтобы сохранить тайну рождения. Этот закон называется «Роды X», так как в досье ребенка вместо имени ставится буква «X». В течение трех месяцев биологические родители имеют право отказаться от первоначального решения и признать своего ребенка. По истечении этого срока ребенок переходит под полную опеку государства и может быть усыновлен приемными родителями. *(Прим. автора)*

5

После того как я написала, что никогда не прикасаюсь к детям, вас может удивить этот жест, но в отдельном случае этот вполне конкретный жест сопровождается объяснением, которое должно помочь ребенку воспринять собственное тело. *(Прим. автора)*

6

Флер /fleur/ — цветок по-французски. */Прим. изд-ва/*

7

Франсуаза Дольто следующим образом объясняла, почему волнения или испуг могут вызвать лихорадку. В момент своего рождения человек внезапно и впервые из среды одной температуры попадает в среду совершенно другой температуры. Люди, которые в этот момент отделения от тела матери и перерезания пуповины пережили что-то неприятное, могут на всю жизнь сохранить физиологическую хрупкость и склонность к тревогам. Когда ребенок чего-то боится, он переводит этот страх для себя в «холодно» и отвечает «жарко», то есть дает температуру и реагирует внезапным жаром. */Франсуаза Дольто «Квебекские диалоги», 1987/*

8

Намек на рок-певца Джонни Холлидея. *(Прим. изд-ва).*

9

Статья 350 Гражданского кодекса гласит: «Ребенок, взятый на воспитание частным лицом, благотворительной организацией или Службой социальной помощи детям, и чьи родители проявляли себя незаинтересованными в течение года, предшествующего подаче ходатайства о признании ребенка покинутым, может быть признан покинутым судом высшей инстанции...»